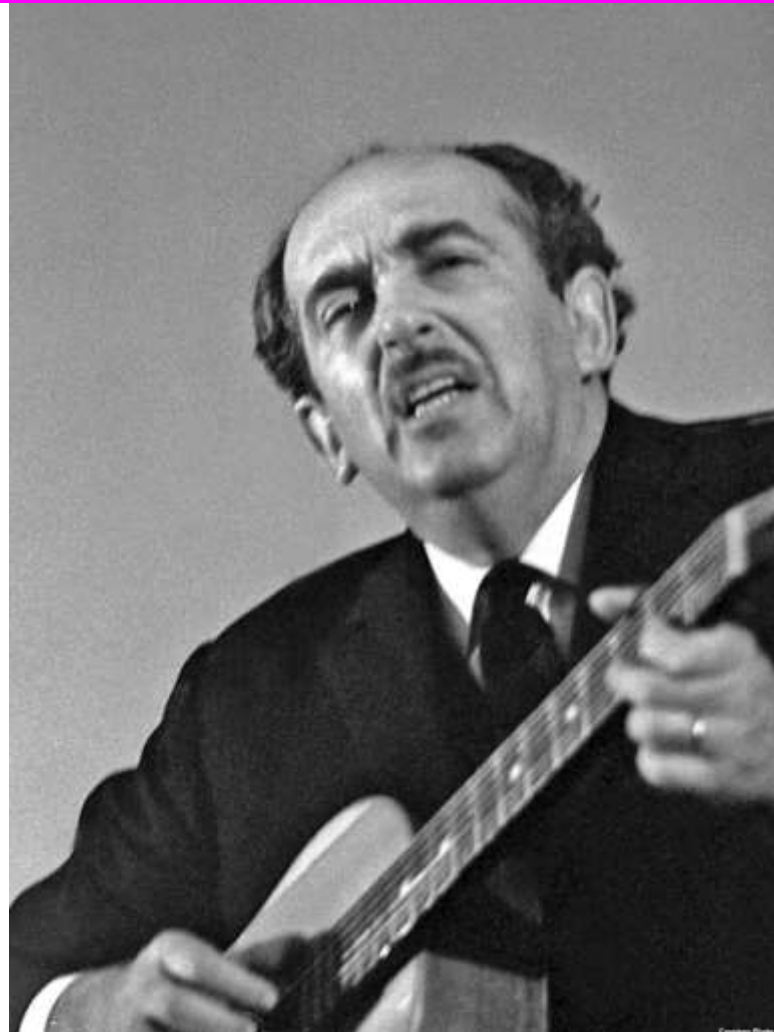


ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Часть 2. СТИХИ.

Александр Галич

Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА



Александр Аркадьевич Галич (настоящая фамилия Гинзбург). Галич – литературный псевдоним, составленный из букв собственных фамилии, имени и отчества.

Член Союза писателей СССР (С 1955 по 1971)

Член Союза Кинематографистов (С 1958 по 1972)

Премия КГБ за сценарий фильму «Государственный преступник»

Перелому в творчестве способствовала несостоявшаяся премьера пьесы Галича «Матросская тишина». В 1971 году Галич был исключён из Союза писателей, а в 1972 году из Союза кинематографистов. В 1972 году, после третьего инфаркта, Галич получает вторую группу инвалидности и пенсию в 54 рубля в месяц. В 1974 году все ранее опубликованные произведения были запрещены и был вынужден эмигрировать, где в 1977 году погиб от тока при ремонте радиоаппаратуры, хотя есть подозрения, что его убили.

ЧЕХАРДА С БУКВАМИ

В Петрограде, в Петербурге, в Ленинграде, на Неве,
В Колокольном переулке жили-были А, И, Б.
А служило, Б служило, И играло на трубе,
И играло на трубе, говорят, что так себе,
Но его любили очень и ценили А и Б.
Как-то в вечер беспокойный
Тяжко пенилась река,
И явились в Колокольный
Три сотрудника ЧК,
А забрали, Б забрали, И не тронули пока.
Через год домой к себе
Возвратились А и Б,
И по случаю такому
И играло на трубе.
Но прошел слушок окольный,
Что, мол, снова быть беде,
И явились в Колокольный
Трое из НКВД.
А забрали, Б забрали, И забрали и т. д.
Через десять лет зимой
А и Б пришли домой,
И домой вернулось тоже,
Все сказали: «Боже мой!»
Пару лет в покое шатком
Проживали А, И, Б
Но явились трое в штатском
На машине КГБ –
А, И, Б они забрали, обозвали всех на «б».
А – пропало навсегда,
Б – пропало навсегда,
И – пропало навсегда,
Навсегда и без следа!
Вот, понимаете, какая у этих букв вышла в жизни ерунда!

ПОЭТЫ умирают
в небесах...

ЛЕВЫЙ МАРШ

Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!
Нет, еще не кончены войны,
Голос чести еще невнятен,
И на свете, наверно, вольно,
Дышат йоги, и то навряд ли!
Наши малые войны были
Ежедневными чудесами
В мутном облаке книжной пыли
Государственных предписаний.
Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!
Помнишь, сонные понятия
Стали к притолоке головой,
Как мечтающие о тыле
Рядовые с передовой?!
Помнишь, вспоротая перина,
В детской комнате – зимний снег?!
Молча шел, не держась за перила,
Обещанный человек.
Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!
И не пули, не штык, не камень, –
Нас терзала иная боль!
Мы бессрочными штрафниками
Начинали свой малый бой!
По детдомам, как по штрафбатам –
Что ни сделаем – все вина!
Под запрятанным шла штандартом
Необъявленная война.
Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!
Наши малые войны были
Рукопашными зла и чести,
В том проклятом военном быте,
О котором не скажешь в песне.
Сколько раз нам ломали ребра,
Этот – помер, а тот – ослеп,
Но дороже, чем ребра – вобла,
И соленый мякинный хлеб.

Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!
И не странно ли, братья серые,
Что по-волчьи мы, налету,
Рвали горло – за милосердие,
Били морду – за доброту!
И ничто нам не мило, кроме
Поля боя при лунном свете!
Говорили – до первой крови,
Оказалось – до самой смерти...
Левой, левой, левой,
Левою, шагом марш!

ПЕСНЯ О СИНЕЙ ПТИЦЕ

Был я глупый тогда и сильный,
Все мечтал я о птице синей,
А нашел ее синий след –
Заработал пятнадцать лет:
Было время – за синий цвет
Получали пятнадцать лет!
Не солдатами – номерами,
Помирали мы, помирали.
От Караганды по Нарым –
Вся земля, как один нарыв!
Воркута, Инта, Магадан!
Кто вам жребий тот нагадал?!
То вас шмон трясет, а то цынга!
И чуть не треть зэка из ЦК.
Было время – за красный цвет
Добавляли по десять лет!
А когда пошли миром грозы –
Мужики на фронт, бабы – в слезы!
В желтом мареве горизонт,
А нас из лагеря, да на фронт!
Севастополь, Курск, город Брест...
Нам слепил глаза желтый блеск.
А как желтый блеск стал белеть,
Стали глазоньки столбенеть!
Ох, сгубил ты нас, желтый цвет!
Мы на свет глядим, а света нет!

Покалечены наши жизни!
А, может, дело все в дальтонизме!?
Может, цвету цвет не чета,
А мы не смыслим в том ни черта?!
Так, подчаливай, друг, за столик,
Ты дальтоник, и я дальтоник...
Разберемся ж на склоне лет,
За какой мы погибли цвет!

Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК

Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере... к такой матери.
Но поскольку молчание – золото.
То и мы, безусловно, старатели.
Промолчи – попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчаливники вышли в начальники.
Потому что молчание – золото.
Промолчи – попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята.
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!

Мы-то знаем – доходней молчание,
Потому что молчание – золото!
Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть – в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС

...Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!
...Здесь мосты, словно кони –
По ночам на дыбы!
Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки –
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!
Здесь, над винною стойкой,
Над пожаром зари
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Что пойдя – повтори!
Все земные печали –
Были в этом краю...
Вот и платим молчаньем
За причастность свою!
Мальчишки были безусы,
Прапоры и корнеты
Мальчишки были безумны
К чему им мои советы?!
Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды –
Они ж по ночам:
«Отчизна! Тираны! Заря свободы!»
Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко.
И весь их щенячий табор

Мне мнился игрой, и только.
И я восклицал: «Тираны!»
И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду,
И в то роковое утро,
(Отнюдь не угрозой чести!)
Казалось, куда как мудро
Себя объявить в отъезде.
Зачем же потом случилось,
Что меркнет копейкой ржавой
Всей славы моей лучинность
Пред солнечной ихней славой?!
...Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы...
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!
Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт
Не спасал от беды!
О, доколе, доколе,
И не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?!
И все так же, не проще,
Век наш пробует нас –
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданьи полки –
От Синода к Сенату,
Как четыре строки?!

ВАЛЬС, ПОСВЯЩЕННЫЙ УСТАВУ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Поколение обреченных!
Как недавно, и, ох, как давно,
Мы смешили смешливых девчонок,
На протырку ходили в кино.
Но задул сорок первого ветер –
Вот и стали мы взрослыми вдруг,
И вколачивал шкура – ефрейтор
В нас премудрость науки наук.
О суконная прелесть устава –
И во сне позабыть не могли,
Что любое движенье направо
Начинается с левой ноги.
А потом в разноцветных нашивках
Принесли мы гвардейскую статью
И женились на разных паршивках,
Чтобы все поскорей навестать.
И по площади Красной, шалея,
Мы шагали – со славой на «ты», –
Улыбался нам Он с мавзолея,
И охрана бросала цветы.
Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги!..
Позабыв, что движенье направо,
Начинается с левой ноги.
Что же вы присмирели, задиры?!
Не такой нам мечтался удел.
Как пошли нас судить дезертиры,
Только пух, так сказать, полетел.
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Ты кончай, солдат, нести чепуху:
Что от Волги, мол, дошел до Белграда.
Не искал, мол, ни чинов, ни разживу...
Так чего же ты не помер, как надо?
Как положено тебе по ранжиру?!
Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат,

Еле слышно отвечает солдат –
Ну, не вышло помереть, виноват.
Виноват, что не загнулся от пули,
Пуля-дура не в того угодила,
Это вроде как с наградами в ПУРе^[2]
Вот и пули на меня не хватило!
Все морочишь нас, солдат, стариной?!
Все морочишь нас, солдат, стариной!
Все морочишь нас, солдат, стариной –
Бьешь на жалость, гражданин строевой!
Ни денег, мол, ни квартирки отдельной,
Ничего, мол, нет такого в заводе,
И один ты, значит, вроде идейный,
А другие, значит, вроде Володи!
Ох, лютует прокурор – дезертир!
Ох, лютует прокурор – дезертир!
Ох, лютует прокурор – дезертир! –
Припечатает годам к десяти!
Ах, друзья ж вы мои, дуралеи, –
Снова в грязь непроезжих дорог!
Заключенные параллели
Преподали нам славный урок –
Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц,
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.
Пусть опять нас тетешкает слава,
Пусть друзьями назвались враги, –
Помним мы, что движение направо
Начинается с левой ноги!

ПАМЯТИ ЖИВАГО

«...Два вола, наряженные в арбу, медленно подымались на крутой холм.
Несколько грузин сопровождали арбу.

– Откуда вы? – спросил я их.

– Из Тегерана».

– Что везете?

– Грибоеда».

Опять над Москвою пожары,

И грязная наледь в крови,

И это уже не татары,

Похуже Мамаю – свои!

В предчувствии гибели низкой

Октябрь разыгрался с утра,

Цепочкой, по Малой Никитской

Прорваться хотят юнкера,

Не надо, оставьте, отставить!

Мы загодя знаем итог!

А снегу придется растаять

И с кровью уплыть в водосток.

Но катится снова и снова

– Ура! – сквозь глухую пальбу.

И челка московского сноба

Под выстрелы пляшет на лбу!

Из окон, ворот, подворотен

Глядит, притаясь, дребедень,

А суть мы потом наворотим

И тень наведем на плетень!

И станет далекое близким,

И кровь претворится водой,

Когда по Ямским и Грузинским

Покой обернется бедой!

И станет преступное дерзким,

И будет обидно, хоть плачь,

Когда протрусит Камергерским

В испарине страха лихач!

Свернет на Тверскую к Страстному,

Трясаясь, матерясь и дрожа,

И это положат, положат в основу

Рассказа о днях мятежа.

А ты до беспамятства рада,

У Иверской купишь цветы,

Сидельцев Охотного ряда
Поздравишь с победою ты.
Ты скажешь – пахнуло озоном,
Трудящимся дали права!
И город малиновым звоном
Ответит на эти слова.
О, Боже мой, Боже мой, Боже!
Кто выдумал эту игру!
И снова погода, похоже,
Испортиться хочет к утру.
Предвестьем Всевышнего гнева,
Посыпется с неба крупа,
У церкви Бориса и Глеба
Сойдется в молчаньи толпа.
И тут ты заплачешь.
И даже
Пригнешься от боли тупой.
А кто-то, нахальный и ражий,
Взмахнет картузом над толпой!
Нахальный, воинственный, ражий
Пойдет баламутить народ!..
Повозки с кровавой поклажей
Скрипят у Никитских ворот...
Так вот она, ваша победа!
«Заря долгожданного дня!»
«Кого там везут?» – «Грибоеда».
Кого отпевают? – Меня!

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ

Старики управляют миром,
Суется, как злые мыши,
Им по справке выданной МИДом,
От семидесяти и выше.
Откружили в боях и в вальсах,
Отмолили годам продление
И в сведенных подагрой пальцах
Держат крепко бразды правленья.
По утрам их терзает кашель,
И поводят глазами шало
Над тарелками с манной кашей
Президенты Земного Шара!

Старики управляют миром,
Где обличья подобны маскам,
Пахнут весны – яичным мылом,
Пахнут зимы – камфарным маслом.
В этом мире – ни слов, ни сути,
В этом мире – ни слез ни крови!
А уж наши с тобою судьбы
Не играют и вовсе роли!
Им виднее, где рваться минам,
Им виднее, где быть границам...
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.
А девчонка гуляет с милым,
А в лесу раскричалась птица!
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.
А в саду набухает завязь,
А мальчишки трубят «по коням!»
И острее чем совесть – зависть
Старикам не дает покоя!
Грозный счет покоренным милям
Отчеркнет пожелтевший ноготь.
Старики управляют миром,
А вот сладить со сном не могут!

НОЧНОЙ ДОЗОР

Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч (и все – похожие)
Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в «неотложки».
И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!
На часах замирает маятник,
Стрелки рвутся бежать обратно:
Одинокий шагает памятник,

Повторенный тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.
И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!
Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведет процессию.
Он выходит на место лобное,
«Гений всех времен и народов!»
И как в старое время доброе
Принимает парад уродов!
И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!
Прет стеной мимо дома нашего
Хлам, забытый в углу уборщицей,
Вот сапог громыхает маршево,
Вот обломанный ус топорщится!
Им пока – скрипеть, да поругиваться,
Да следы оставлять линючие,
Но уверена даже пуговица,
Что сгодится еще при случае.
И будут бить барабаны!
Бить барабаны,
Бить, бить, бить!
Утро родины нашей розово,
Позывные летят, попискивая,
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие,
Им бы гипсовым человечины –
Они вновь обретут величие!
И будут бить барабаны!..
Бить барабаны,
Бить, бить, бить!

Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ

Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю Свободу,
И – свистите во все свистки!
И лопается терпенье,
И тысячи три рубак
Вострят, словно финки, перья,
Спускают с цепи собак.
Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там, и тут,
И все меня ждут на Западе,
Но только напрасно ждут!
Я выбираю Свободу, –
Но не из боя, а в бой,
Я выбираю Свободу
Быть просто самим собой.
И это моя Свобода,
Нужны ли слова ясней?!
И это моя забота –
Как мне поладить с ней.
Не слаще, чем ваши байки,
Мне гордость моей беды,
Свобода казенной пайки,
Свобода глотка воды.
Я выбираю Свободу,
Я пью с нею нынче на «ты».
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты.
Где вновь огородной тяпкой
Над всходами пляшет кнут,
Где пулею или тряпкой
Однажды мне рот заткнут.
Но славно звенит дорога,
И каждый приют, как храм.
А пуля весит немного –
Не больше, чем восемь грамм.
Я выбираю свободу, –
Пускай груба и ряба,
А вы, валяйте, по капле
«Выдавливайте раба»!

По капле и есть по капле –
Пользительно и хитро,
По капле – это на Капри,
А нам – подставляй ведро!
А нам – подавай корыто,
И встанем во всей красе!
Не тайно, не шито-крыто,
А чтоб любовались все!
Я выбираю Свободу,
И знайте, не я один!
И мне говорит «свобода»:
«Ну, что ж, говорит, одевайтесь
И пройдемте-ка, гражданин».

ПЕСНЯ ИСХОДА

Галиньке и Виктору – мой прощальный подарок.

«...но Идущий за мной сильнее меня...»

Уезжаете?!

Уезжайте –

За таможни и облака.

От прощальных рукопожатий

Похудела моя рука!

Я не плакальщик и не стража,

И в литавры не стану бить.

Уезжаете?! Воля ваша!

Значит – так по сему и быть!

И плевать, что на сердце кисло,

Что прощанье, как в горле ком...

Больше нету ни сил, ни смысла

Ставить ставку на этот кон!

Разыграешься только-только

А уже из колоды – прыг! –

Не семерка, не туз, не тройка.

Окаянная дама пик!

И от этих усатых шатий,

От анкет и ночных тревог –

Уезжаете?!

Уезжайте.

Улетайте – и дай вам Бог!

Улетайте к неверной правде

От взавправдашних мерзлых зон.
Только мертвых своих оставьте,
Не тревожьте их мертвый сон.
Там – в Понарах и в Бабьем Яре, –
Где поныне и следа нет,
Лишь пронзительный запах гари
Будет жить еще сотни лет!
В Казахстане и в Магадане
Среди снега и ковыля...
Разве есть земля богоданней,
Чем безбожная та земля?!
И под мраморным обелиском
На распутице площадей,
Где, крещенных единым списком,
Превратила их смерть в людей!
А над ними шумят березы –
У деревьев свое родство!
А над ними звенят морозы
На крещение и рождество!
...Я стою на пороге года –
Ваш сородич и ваш изгой,
Ваш последний певец исхода,
Но за мною придет другой!
На глаза нахлобучив шляпу,
Дерзкой рыбой, пробившей лед,
Он пойдет, не спеша, по трапу
В отлетающий самолет!
Я стою... Велика ли странность?
Я привычно машу рукой!
Уезжайте!
А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мертвых стеречь покой!
20 декабря 1971 г.

ПЕСЕНКА-МОЛИТВА

*(которую надо прочесть перед самым
отлетом Галиньке)*

Когда – под крылом – добежит земля
К взлетному рубежу,
Зажмурь глаза и представь,
что я Рядом с тобой сижу.
Пилот на табло зажег огоньки,
Искусственную зарю,
А я касаюсь твоей руки
И шепотом говорю:
– Помолимся вместе, чтоб этот путь
Стал Божьей твоей судьбой.
Помолимся тихо, чтоб где-нибудь
Нам свидеться вновь с тобой!
Я твердо верю, что будет так, –
Всею силой моей любви!
Твой каждый вздох и твой каждый шаг,
Господи, благослови!
И слухам о смерти моей не верь –
Ее не допустит Бог!
Еще, ты, я знаю, откроешь дверь
Однажды – на мой звонок!
Еще очистительная гроза
Подарит нам правды свет!
Да будет так!
И открой глаза:
Моя – на ладони твоей – слеза,
Но нет меня рядом, нет!
Москва. 9 января 1972 г.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Посвящается В. Беньяш
Вот пришли и ко мне седины,
Распеваётся воронье!
«Не судите, да не судимы...» –
Заклинает меня вранье.

Ах, забвенья глоток студёный,
Ты охотно напомним мне,
Как роскошный герой – Будёный –
На роскошном скакал коне.
Так давайте ж, друзья, устроим
Наших сил золотой запас,
«Нас не трогай, и мы не тронем...» –
Это пели мы! И не раз!..
«Не судите!»
Смирней, чем Авель.
Падай в ноги за хлеб и кров...
Ну, писал там какой-то Бабель,
И не стало его – делов!
«Не судите!»
И нет мерила,
Все дозволено, кроме слов...
Ну, какая-то там Марина
Захлебнулась в петле – делов!
«Не судите!»
Малюйте зори,
Забивайте своих козлов...
Ну какой-то там «чайник» в зоне
Все о Федре кричал – делов!
– Я не увижу знаменитой Федры
В старинном многоярусном театре!..
...Он не увидит знаменитой Федры
В старинном многоярусном театре! –
Пребывая в туманной черноте,
Обращаюсь с мольбой к историку –
От великой своей учености
Удели мне хотя бы толику!
Я ж пути не ищу раскольного,
Я готов шагать по законному!
Успокой меня, беспокойного,
Растолкуй ты мне, бестолковому!
А историк мне отвечает:
«Я другой такой страны не знаю...»
Будьте ж счастливы, голосуйте,
Маршируйте к плечу плечом,
Те, кто выбраны, те и судьи,
Посторонним вход воспрещен!

Ах: как быстро, несусветимы
Дни пошли нам виски сидеть...
«Не судите, да не судимы...»
Так, вот, значит, и не судить?!
Так, вот, значит и спать спокойно,
Опускать пятаки в метро?!
А судить да рядить – на кой нам?!
«Нас не трогай, и мы не тро...»
Нет! Презренна по самой сути
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран.
Но я судья!

ПЕСНЯ О НОЧНОМ ПОЛЕТЕ

[\[3\]](#)

Ах, как трудно улетают люди,
Вот идут по трапу на ветру,
Вспоминая ангельские лютни
И тому подобную муру!
Улетают, как уходят в нети,
Исчезают угольком в золе,
До чего все трудно людям в небе,
До чего все мило на земле!
Пристегните ремни, пристегните ремни!
Ну, давай посошок на дорожку налей!
Тут уж ясное дело, темни не темни,
А на поезде ездить людям веселей...
Пристегните ремни, пристегните ремни!
Не курить! Пристегните ремни!
И такой, на землю не похожий
Синий мир за взлетной крутизной...
Пахнет небо хлоркою и кожей,
А не теплой горестью земной!
И вино в пластмассовой посуде
Не сулит ни хмеля, ни чудес,
Улетают, улетают люди
В злую даль за тридевять небес!
Пристегните ремни, пристегните ремни,
Помоги, дорогой, чемоданчик поднять...

И какие-то вдруг побежали огни,
И уже ничего невозможно понять,
Пристегните ремни, пристегните ремни
Не курить! пристегните ремни!
Люди спят, измученные смутой,
Снятся людям их земные сны
Перед тою роковой минутой
Вечной и последней тишины!
А потом, отдав себя крушенью,
Камнем вниз, не слушаясь руля!
И земля ломает людям шею,
Их благословенная земля.
Пристегните ремни! Пристегните ремни!
Мы взлетели уже?
Я не понял. а вы?
А в окно еще виден кусочек земли,
И немножко бетона, немножко травы...
Отстегните ремни! Отстегните ремни!
Навсегда отстегните ремни!

СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ!

[\[4\]](#)

Спрашивает мальчик – почему?
Спрашивает мальчик – почему?
Двести раз и триста – почему?
Тучка набегает на чело,
А папаша режет ветчину,
А папаша режет ветчину,
Он сопит и режет ветчину
И не отвечает ничего.
Снова замаячили быль, боль,
Снова рвутся мальчики в пыль, в бой!
Вы их не пугайте, не отваживайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, спрашивайте!
Спрашивайте, как и почему?
Спрашивайте, как и почему?
Как, и отчего, и почему?

Спрашивайте, мальчики, отцов!
Сколько бы ни резать ветчину,
Сколько бы ни резать ветчину –
Надо ж отвечать в конце концов!
Но в зрачке – хрусталике – вдруг муть,
А старые сандалики, ух, жмут!
Ну, и не жалейте их, снашивайте!
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!
Спрашивайте!!!

ПОЕЗД

Памяти С. М. Михоэлса
Ни гневом, ни порицанием
Давно уж мы не бряцаем:
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем.
Не рвемся ни в бой, ни в поиск –
Все праведно, все душевно.
Но помни – отходит поезд!
Ты слышишь?
Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.
Ай – яй – яй – яй – яй – яй – яй
А мы балагурим, а мы куролесим,
Нам недругов лесть, как вода из колодца!
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам –
Колеса, колеса, колеса, колеса...
Такой у нас нрав спокойный,
Что без никаких стараний
Нам кажется путь окольный
Кратчайшим из расстояний.
Оплачен страховки полис,
Готовит обед царевна...
Но помни отходит поезд,
Ты слышишь?!
Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.
Ай – яй – яй – яй – яй – яй – яй
Мы пол отциклуюм, мы шторы повесим,
Чтоб нашему раю – ни краю, ни сноса.

А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам –
Колеса, колеса, колеса, колеса...
От скорости века в сонности
Живем мы, в живых не значась...
Непротивление совести –
Удобнейшее из чудачеств!
И только порой под сердцем
Кольнет тоскливо и гневно –
Уходит наш поезд в Освенцим,
Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно!
Ай – яй – яй – яй – яй – яй – яй
А как наши судьбы – как будто похожи –
И на гору вместе, и вместе с откоса!
Но вечно – по рельсам, по сердцу, по коже –
Колеса, колеса, колеса, колеса!

УХОДЯТ ДРУЗЬЯ

Памяти Фриды Вигдоровой

На последней странице газет печатаются объявления о смерти, а на первых – статьи, сообщения и покаянные письма.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни – в никуда, а другие – в князья...
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни.
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!
Не спешите сообщить по секрету:
Я не верю вам, не верю, не верю!
Но приносят на рассвете газету,
И газета подтверждает потерю.
Знать бы загодя, кого сторониться,
А кому была улыбка – причастьем!
Есть уходят – на последней странице,
Но которые на первых – те чаще...
Уходят, уходят, уходят друзья,
Как одному, а другому – стезя.
Такой по столетию ветер гудит,
Что косит своих, и чужих не щадит,
Уходят, уходят, уходят

Уходят мои друзья!
Мы мечтали о морях – океанах,
Собирались напрямик на Гавайи!
И, как спятивший трубач, спозаранок,
Уцелевших я друзей созываю.
Я на ощупь, и на вкус, и по весу,
Учиняю им проверку, но вскоре
Вновь приносят мне газету-повестку
К отбыванию повинности горя.
Уходят, уходят, уходят друзья!
Уходят, как в ночь эскадрон на рысях,
Им право – не право, им совесть – пустяк,
Одни наплюют, а другие простят!
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!
И когда потеря громом крушенья
Оглушила, полоснула по сердцу,
Не спешите сообщить в утешенье,
Что немало есть потерь по соседству!
Не дарите мне беду, словно сдачу,
Словно сдачу, словно гривенник стертый!
Я ведь все равно по мертвым не плачу,
Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый.
Уходят, уходят, уходят друзья –
Одни в никуда, а другие – в князья...
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни,
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья...

ЗАСЫПАЯ И ПРОСЫПАЯСЬ

Все снежком январским припорошено,
Стали ночи длинные лютей...
Только потому, что так положено,
Я прошу прощенья у людей.
Воробьи попрятались в скворешники,
Улетели за море скворцы...
Грешного меня – простите, грешники,
Подлого – простите подлецы!

Вот горит звезда моя субботняя,
Равнодушна к лести и хуле...
Я надену чистое исподнее,
Семь свечей расставлю на столе.
Расшумятся к ночи дурни – лабухи:
Ветра и поземки чертовня...
Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня.
А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок –
Это мне Арина Родионовна
Скажет: «Нит гедайге ^[5], спи, сынок.»
Сгнило в вошебойке платье узника,
Всем печалям подведен итог,
А над Бабьим Яром – смех и музыка...
Так что, все в порядке, спи, сынок.
Спи, но в кулаке зажди оружие –
Ветхую Давидову пращу!»
...Люди мне простят от равнодушия,
Я им – равнодушным – не прощу!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы, зазря не стенайте,
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.
А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам «ле-хаим» ^[6],
А таскаться на допрос с вертухаем.
Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Россинантом
И украсят лапсердак аксельбантом.
Но и ставши в ремесле этом первым,
Все равно тебе не быть камергером,
И не выйти на елее в Орфеи...
Так не шейте ж вы ливреи, евреи! ^[7]

ПЕСНЯ ПРО ОСТРОВА

Говорят, что есть на свете острова,
Где растет на берегу забудь – трава,
Забудь о гордости, забудь про горести,
Забудь о подлости!
Забудь про хворости!
Вот какие есть на свете острова!
Говорят, что где-то есть острова,
Где с похмелья не болит голова,
А сколько есть вина, пей все без просыпу,
А после по морю ходи, как по-суху!
Вот какие есть на свете острова!
Говорят, что где-то есть острова,
Где четыре не всегда дважды два,
Считай хоть до слепу – одна испарина,
Лишь то, что по сердцу, лишь то и правильно.
Вот какие есть на свете острова!
Говорят, что где-то есть острова,
Где неправда не бывает права!
Где совесть – надобность, а не солдатчина!
Где правда нажита, а не назначена!
Вот какие я придумал острова!

ОСТРОВА (*вариант*)

Говорят, что где-то есть острова
Где растет на берегу трын-трава
И от хворости, и от подлости
И от горести, и от гордости
Вот какие есть на свете острова.
Говорят, что где-то есть острова,
Где с похмелья не болит голова,
А сколько есть вина, пей все без просыпу,
А после по морю ходи, как по-суху!
Вот какие есть на свете острова!
Говорят, что где-то есть острова
Где четыре навсегда – дважды-два.

Ищи хоть сотни, нет решенья лучшего,
Четыре – дважды два, как ни выкручивай.
Вот какие есть на свете острова.
Говорят, что где-то есть острова,
Где неправда не бывает права
Где не от ленности и не от бедности
И нет и не было черты оседлости
Вот какие я придумал острова

ПЕСНЯ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ (*Женский вальс*)

Как мне странно, что ты жена,
Как мне странно, что ты жива!
А я-то думал, что просто
Ты мной воображена..
Не считайте себя виноватыми,
Не ищите себе наказанья,
Не смотрите на нас вороватыми,
Перепуганными глазами,
Будто призваны вы, будто позваны,
Нашу муку терпеньем мелете...
Ничего, что родились поздно вы, –
Вы все знаете, все умеете!
Как мне странно, что ты жена,
Как мне странно, что ты жива!
А я-то думал, что просто
Ты мной воображена...
Никаких вы не знали фортелей,
Вы не плыли бутырскими окнами,
У проклятых ворот в Лефортове
Вы не зябли ночами мокрыми.
Но ветрами подует грозными –
Босиком вы беду измерите!
Ничего, что родились поздно вы, –
Вы все знаете, все умеете!
Как мне странно, что ты жена,
Как мне странно, что та жива!
А я-то думал, что просто
Ты мной воображена...

Не дарило нас время сладостью,
Раздавало горстями горькости:
Мы хлебнули и кровь и подлость,
Но великою вашей слабостью
Вы не жизнь нам спасли, а гордость!
Вам сторицей не будет воздано,
И пройдем мы по веку розно,
Ничего, что родились поздно вы, –
Воевать никогда не поздно!
Как мне страшно, что ты жена!
Как мне страшно, что ты жива!
В Ярославле, на пересылке,
Ты была воображена...

«Я В ПУТЬ СОБИРАЛСЯ ВСЕГДА НАЛЕГКЕ...»

Я в путь собирался всегда налегке,
Без долгих прощальных торжеств,
И маршальский жезл не таскал в рюкзаке.
На кой он мне, маршальский жезл!
Я был рядовым и умру рядовым.
Всей щедрой земли рядовой,
Что светом дарила меня даровым,
Поила водой даровой.
До старости лет молоко на губах,
До тьмы гробовой – рядовой.
А маршалы пусть обсуждают в штабах
Военный бюджет годовой.
Пуškai заседают за круглым столом
Вселенской охоты псари,
А мудрость их вся заключается в том,
Что два – это меньше чем три.
Я сам не люблю старичков – ворчунов
И все-таки истово рад,
Что я не изведаль бесчестья чинов
И низости барских наград. ^[9]
Земля под ногами и посох в руке
Торжественней всяких божеств,
А маршальский жезл у меня в рюкзаке –

Свирель, а не маршальский жезл.
9 марта 1972 г.

СТАРЫЙ ПРИНЦ

Карусель городов и гостиниц,
Запах грима и пыль париков...
Я кружу, как подбитый эсминец,
Далеко от родных берегов...
Чья-то мина сработала чисто,
И, должно быть, впервые всерьез
В дервенеющих пальцах радиста
Дребезжит безнадежное SOS.
Видно, старость-жестокий гостинец,
Не повесишь на гвоздь, как пальто.
Я тону, пораженный эсминец,
Но об этом не знает никто!
Где-то слушают чьи-то приказы,
И на стенах анонсов мазня,
И стоят терпеливо у кассы
Те, кто все еще верит в меня.
Сколько было дорог и отелей,
И постелей, и мерзких простынь,
Скольких я разномастных Офелий
Навсегда отослал в монастырь!
Вот – придворные пятятся задом,
Сыпят пудру с фальшивых седин.
Вот – уходят статисты, и с залом
Остаюсь я один на один.
Я один! И пустые подмости.
Мне судьбу этой драмы решать...
И уже на галерке подростки
Забывают на время дышать.
Цепenea от старческой астмы,
Я стою в перекрестье огня.
Захудалые, вялые астры
Ждут в актерской уборной меня.
Много было их, нежных и сирых,
Знавших славу мою и позор.
Я стою и собраться не в силах,
И не слышу, что шепчет суфлер.

Но в насмешку над немощным телом
Вдруг по коже волненья озноб.
Снова слово становится делом
И грозит потрясеньем основ.
И уже не по тексту Шекспира
(Я и помнить его не хочу), –
Гражданин полоумного мира,
Я одними губами кричу:
– РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН...
И морозец, морозец по коже,
И дрожит занесенный кулак,
И шипят возмущенные ложи:
– Он наврал, у Шекспира не так!
Но галерка простит оговорки,
Сопричастна греху моему.
А в эсминце трещат переборки,
И волна накрывает корму.

«КОГДА-НИБУДЬ ДОШЛЫЙ ИСТОРИК...»

Когда-нибудь дошный историк
Возьмет и напишет про нас,
И будет насмешливо горек
Его неспешный рассказ.
Напишет он с чувством и толком,
Ошибки учтет наперед,
И все он расставит по полкам,
И всех по костям разберет.
И вылезет сразу в середку
Та главная, наглая кость,
Как будто окурок в селедку
Засунет упившийся гость.
Чего уж, казалось бы, проще
Отбросить ее и забыть?
Но в горле застрявшие мощи
Забвенья вином не запить.
А далее кости поплоше
Пойдут по сравнению с той, –
Поплоше, но странно похожи

Бесстыдной своей наготой.
Обмылки, огрызки, обноски,
Ошметки чужого огня:
А в сноске – вот именно в сноске –
Помянет историк меня.
Так, значит, за эту вот строчку,
За жалкую каплю чернил,
Воздвиг я себе одиночку
И крест свой на плечи взвалил.
Так, значит, за строчку вот эту,
Что бросит мне время на чай,
Веселому щедрому свету
Сказал я однажды: «Прощай!»
И милых до срока состарил,
И с песней шагнул за предел,
И любящих плакать заставил,
И слышать их плач не хотел.
Но будут мои подголоски
Звенеть и до Судного дня...
И даже не важно, что в сноске
Историк не вспомнит меня!
15 января 1972 г.

ОБЛАКА

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака.
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!
Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.
До сих пор в глазах снега наст!
До сих пор в ушах шмона гам!..
Эй подайте ж мне ананас
И коньячку еще двести грамм!

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия – ни к чему.
Я и сам живу – первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сажу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!
Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот...
А мне четвертого – перевод,
И двадцать третьего – перевод.
И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

ПЕСНЯ О СИНЕЙ ПТИЦЕ

Был я глупый тогда и сильный,
Все мечтал я о птице синей,
А нашел ее синий след –
Заработал пятнадцать лет:
Было время – за синий цвет
Получали пятнадцать лет!
Не солдатами – номерами,
Помирали мы, помирали.
От Караганды по Нарым –
Вся земля, как один нарыв!
Воркута, Инта, Магадан!
Кто вам жребий тот нагадал?!
То вас шмон трясет, а то цынга!
И чуть не треть зэка из ЦК.
Было время – за красный цвет
Добавляли по десять лет!
А когда пошли миром грозы –
Мужики на фронт, бабы – в слезы!
В желтом мареве горизонт,

А нас из лагеря, да на фронт!
Севастополь, Курск, город Брест...
Нам слепил глаза желтый блеск.
А как желтый блеск стал белеть,
Стали глазоньки столбенеть!
Ох, сгубил ты нас, желтый цвет!
Мы на свет глядим, а света нет!
Покалечены наши жизни!
А, может, дело все в дальтонизме!?
Может, цвету цвет не чета,
А мы не смыслим в том ни черта?!
Так, подчаливай, друг, за столик,
Ты дальтоник, и я дальтоник...
Разберемся ж на склоне лет,
За какой мы погибли цвет!

ВСЕ НЕ ВОВРЕМЯ

Посвящается В. Т. Шаламову
А ты стучи, стучи, а тебе Бог простит,
А начальнички тебе, Леха, срок скостят!
А за Окой сейчас, небось, коростель свистит,
А у нас на Тайшете ветра свистят.
А месяц май уже, все снега белы.
А вертухаевы на снегу следы,
А что полнормы, тьфу, это полбеды,
А что песню спел – полторы беды!
А над Окой летят гуси-лебеди,
А за Окой свистит коростель,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!
А первый зэка, он с Севастополя,
Он там, черт чудной, Херсонес копал,
Он копал, чумак, что ни попадя,
И на полный срок в лагеря попал.
И жену его, и сына его,
И старуху-мать, чтоб молчала, блядь!
Чтобы знали все, что закаяно
Нашу родину сподниза копать!
А в Крыму теплынь, в море сельди,
И миндаль, небось, подоспел,

А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!
А второй зэка – это лично я,
Я без мамы жил, и без папы жил,
Моя б жизнь была преотличная,
Да я в шухере стукаря пришил!
А мне сперва вышка, а я в раскаянье,
А уж в лагере – корешей в навал,
И на кой я пес при Лехе-Каине
Чумаку подпел «Интернационал»?!
А в караулке пьют с рафинадом чай,
И вертухай идет, весь сопрел.
Ему скучно чай, и несподручно, чай,
Нас в обед вести на расстрел!

ПЛЯСОВАЯ

Чтоб не бредить палачам по ночам,^[10]
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.
На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь «КВ» – коньячок,
А впоследствии – чаек, пастила,
Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют»,
И сидят заплечных дел мастера
И тихонько, но душевно поют:
«О Сталине мудром, родном и любимом...»
Был порядок, – говорят палачи,
Был достаток, – говорят палачи,
Дело сделал, – говорят палачи, –
И пожалуйста – сполна получи.
Белый хлеб икрой намазан густо,
Слезы кипяточка горячей,
Палачам бывает тоже грустно,
Пожалейте, люди, палачей!
Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,
Бьют по рылу палачи палачей.

Как когда-то, как в годах молодых –
И с оттяжкой, и ногою в поддых,
И от криков, и от слез палачей
Так и ходят этажи ходуном,
Созывают «неотложных» врачей
И с тоскою вспоминают о Нем,
«О Сталине мудром, родном и любимом...»
Мы на страже, – говорят палачи.
Но когда же? – говорят палачи.
Поскорей бы! – говорят палачи. –
Встань, Отец, и вразуми, научи!
Дышит, дышит кислородом стража,
Крикнуть бы, но голос как ничей,
Палачам бывает тоже страшно,
Пожалейте, люди, палачей!

ЕЩЕ РАЗ О ЧЕРТЕ

Я считал слонов и в нечет и в чет,
И все-таки я не уснул,
И тут явился ко мне мой черт,
И уселся верхом на стул.
И сказал мой черт:
«Ну, как, старина,
Ну, как же мы порешим?
Подпишем союз, и айда в стремяна,
И еще чуток погрешим!
И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, – потом!
Аллилуйя, Аллилуйя,
Аллилуйя, – потом!
Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин.
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все – как один!
И ты поймешь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь – да!
И вместе со всеми – нет!

И ты будешь волков на земле плодить,
И учить их вилять хвостом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, – потом!
Аллилуйя, Аллилуйя,
Аллилуйя, – потом!
И что душа? –
Прошлогодний снег!
А глядишь – пронесет и так!
В наш атомный век, в наш каменный век,
На совесть цена пятак!
И кому оно нужно, это «добро»,
Если всем дорога – в золу...
Так давай же, бери, старина, перо!
И вот здесь распишись, «в углу».
Тут черт потрогал мизинцем бровь...
И придвинул ко мне флакон.
И я спросил его: «Это кровь?»
«Чернила», – ответил он...
Аллилуйя, аллилуйя!
«Чернила», – ответил он.

ГУСАРСКАЯ ПЕСНЯ

По рисунку Палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В черной бурке на коне.
Тезка мой и зависть тайная,
Сердце горем горячи!
Зависть тайная, «летальная» –
Как сказали бы врачи.
Славно, братцы, славно, братцы, славно братцы – егеря!
Славно, братцы-егеря, рать любимая царя!
Ах кивера да ментики, ах соколы-орлы,
Кому вы в сердце метили, ле-пажевы стволы?
Не мне ль вы в сердце метили, ле-пажевы стволы!
А беда явилась за полночь,
Но не пулею в висок,
Просто в путь, в ночную заволочь,
Важно тронулся возок.

И не спеть, не выпить водочки,
Не держать в руке бокал!
Едут трое, сам в середочке,
Два жандарма по бокам.
Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы – егеря!
Славно, братцы-егеря, рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики, пора бы выйти в знать,
Но этой арифметики поэтам не узнать,
Ни прошлым и не будущим поэтам не узнать.
Где ж друзья твои, ровесники?
Некому тебя спасать!
Началось все дело с песенки.
А потом – пошла писать!
И по мукам, как по лезвию...
Размышляй теперь о том,
То ли броситься в поэзию,
То ли сразу – в желтый дом...
Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря, рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики, возвышенная речь!
А все-таки наветики страшнее, чем картечь
Доносы и наветики страшнее, чем картечь!
По рисунку Палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В черной бурке на коне.
Но оставь, художник, вымысел,
Нас в герои не крои,
Нам не знамя жребий вывесил,
Носовой платок в крови...
Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря, рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики, нерукотворный стяг!
И дело тут не в метрике, столетие – пустяк!
Столетие, столетие, столетие – пустяк...

ПАМЯТИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

«...правление Литературного Фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года, на 71 году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного».

Разобрали венки на веники,
На полчаса погрустнели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!
И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье...
Он не мылил петли в Елабуге.
И с ума не сходил в Сучане!
Даже киевские «письмэнники»
На поминки его поспели!..
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!
И не то, чтобы с чем-то *за* сорок,
Ровно семьдесят – возраст смертный,
И не просто какой-то пасынок,
Член Литфонда – усопший сметный!
Ах, осыпались лапы елочьи,
Отзвенели его метели...
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!
*«Мело, мело, по всей земле, во все пределы,
Свеча горела на столе, свеча горела...»*
Нет, никакая не свеча,
Горела люстра!
Очки на морде палача
Сверкали шустро!
А зал зевал, а зал скучал –
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму, и не в Сучан,
Не к «высшей мере»!
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу,
Голосованьем!
И кто-то, спяну вопрошал:
«За что? Кого там?»

И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом...
Мы не забудем этот смех,
И эту скуку!
Мы поименно вспомним всех,
Кто поднял руку!
*«Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку...»*
Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародеры,
И несут почетный...
Ка-ра-ул!

СНОВА АВГУСТ

Посвящается памяти А. А. Ахматовой.

«...а так как мне бумаги не хватило, я на твоём пишу черновике...»

Анна Андреевна очень боялась и не любила месяц август и считала этот месяц для себя несчастливым, и имела к этому все основания, поскольку в августе был расстрелян Гумилев, на станции Бернгардтовка, в августе был арестован её сын Лев, в августе вышло известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и т. д.

«Кресты» – ленинградская тюрьма.

Пряжка – район в Ленинграде.

В той злой тишине, в той неверной,

В тени разведённых мостов,

Ходила она по Шпалерной,

Моталась она у «Крестов».

Ей в тягость?

Да нет, ей не в тягость –

Привычно, как росчерк пера,

Вот если бы только не август,

Не чертова эта пора!

Таким же неверно-нелепым^[11]

Был давний тот август, когда

Над чёрным бернгардтовским небом

Стрельнула, как птица, беда,

И разве не в августе снова,

В ещё неотмеренный год,

Осудят мычанием слово,

Последнюю совесть – в расход!
Но это потом, а пока
Которую ночь – над Невой,
Уже не надеясь на чудо,
А только бы знать, что живой!
И в сумраки вписана четко,
Как вписана в нашу судьбу,
По-царски небрежная челка,
Прилипшая к мокрому лбу.
О, шелест финских сосен,
Награда за труды,
Но вновь приходит осень –
Пора твоей беды!
И август, и как будто
Все то же, как тогда,
И врет мордастый Будда,
Что горе – не беда!
Но вьется, вьется челка
Колечками на лбу,
Уходит в ночь девчонка
Пытать свою судьбу.
Следят, следят из окон
За нею сотни глаз
А ей плевать, что поздно,
Что комендантский час.
По улице бессветной,
Под окрик патрулей,
Идет она бессмертной
Походкою своей.
На праздник и на плаху
Идет она, как ты!
По Пряжке, через Прагу –
Искать свои «Кресты»!
И пусть судачат вздорные соседи,
Пусть кто-то обругает не со зла,
Она домой вернется на рассвете
И никому ни слова – где была...
Но с мокрых пальцев облизнет чернила,
И скажет, примостившись в уголке:
«Прости, но мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике...»

НА СОПКАХ МАНЧЖУРИИ

Памяти М. М. Зощенко
В матершинном субботнем загуле шалманчика
Обезьянка спала на плече у шарманщика,
А когда просыпалась, глаза ее жуткие
Выражали почти человеческую отчаянность,
А шарманка дудела про сопки манчжурские,
И Тамарка-буфетчица очень печалилась...
Спит Гаолян,
Сопки покрыты мглой...
Были и у Томки трали-вали,
И не Томкой – Томочкою звали,
Целовалась с миленьким в осоке,
И не пивом пахло, а апрелем,
Может быть, и впрямь на той высоте
Сгинул он, порубан и пострелян...
Вот из-за туч блеснула луна,
Могила хранят покой...
А последний шарманщик – обломок империи,
Все пылил перед Томкой павлиньими перьями,
Он выламывал, шкура, замашки буржуйские –
То, мол, теплое пиво, то мясо прохладное,
А шарманка дудела про сопки манчжурские,
И спала на плече обезьянка прокатная...
Тихо вокруг,
Ветер туман унес...
И делясь тоской, как барышами,
Подпевали шлюхи с алкашами,
А шарманщик ел, зараза, хаши,
Алкашам подмигивал прелестно –
Дескать, деньги ваши – будут наши,
Дескать, вам приятно – мне полезно!
На сопках Манчжурии воины спят,
И русских не слышно слез...
А часов этак в десять, а может и ранее,
Непонятный чудака появился в шалмане,
Был похож он на вдруг постаревшего мальчика.
За рассказ, напечатанный неким журнальчиком,
Толстомордый подонок с глазами обманщика
Объявил чудака всенародно – обманщиком...
Пусть Гаолян

Нам навевает сны...
Сел чудака за стол и вжался в угол,
И легонько пальцами постукал,
И сказал, что отдохнет немного,
Помолчав, добавил напряженно, –
«Если есть „боржом“, то ради Бога,
Дайте мне бутылочку «Боржома...»
Спите герои русской земли,
Отчизны родной сыны...
Обезьянка проснулась, тихонько зацокала,
Загляделась на гостя, присевшего около,
А Тамарка-буфетчица – сука рублевая,
Покачала смущенно прическою пегою,
И сказала: «Пардон, но у нас не столовая,
Только вы обождите, я за угол сбегая...»
Спит Гаолян,
Сопки покрыты мглой...
А чудака глядел на обезьянку,
Пальцами выстукивал морзянку,
Словно бы он звал ее на помощь,
Удивляюсь своему бездомью,
Словно бы он спрашивал – запомнишь? –
И она кивала – да, запомню. –
Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой...
Отодвинул шарманщик шарманку ботинкою,
Прибежала Тамарка с боржомной бутылкою –
И сама налила чудаку полстаканчика,
(Не знавали в шалмане подобные почести),
А Тамарка, в упор поглядев на шарманщика,
Приказала: «играй, – человек в одиночестве».
Тихо вокруг,
Ветер туман унес...
Замолчали шлюхи с алкашами,
Только мухи с крыльями шуршали...
Стало почему-то очень тихо,
Наступила странная минута –
Непонятное, чужое лихо –
Стало общим лихом почему-то!
На сопках Манчжурии воины спят,
И русских не слышно слез...

Не взрывалось молчанье ни матом, ни брехами,
Обезьянка сипела спаленными бронхами,
И шарманщик, забыв трепотню свою барскую,
Сам назначил себе – мол, играй, да помалкивай, –
И почти что неслышно сказав, – благодарствую, –
Наклонился чудака над рукою Тamarкиной...
Пусть Гаолян
Нам навевает сны...
И ушел чудака, не взявши сдачи,
Всем в шалмане пожелал удачи...
Вот какая странная эпоха –
Не горим в огне – и тонем в луже!
Обезьянке было очень плохо,
Человеку было много хуже!
Спите герои русской земли,
Отчизны родной сыны...

ЛЕГЕНДА О ТАБАКЕ

Посвящается памяти замечательного человека, Даниила Ивановича Ювачева, придумавшего себе странный псевдоним

– Даниил Хармс – писавшего прекрасные стихи и прозу, ходившего в автомобильной кепке и с неизменной трубкой в зубах, который действительно исчез, просто вышел на улицу и исчез. У него есть такая пророческая песенка:

«Из дома вышел человек
С веревкой и мешком
И в дальний путь, и в дальний путь,
Отправился пешком.
Он шел, и все глядел вперед,
И все вперед глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел,
И вот однажды, поутру,
Вошел он в темный лес,
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез...»
Лил жуткий дождь,
Шел страшный снег,
Вовсю дурил двадцатый век,

Кричала кошка на трубе,
И были сто собак.
И, встав с постели, человек
Увидел кошку на трубе,
Зевнул и сам сказал себе –
Кончается табак!
Табак кончается – беда,
Пойду куплю табак,
И вот..., но это ерунда,
И было все не так.
Из дома вышел человек
С веревкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком...
И тут же, проглотив смешок,
Он сам себя спросил –
А для чего он взял мешок?
Ответьте, Даниил!
Вопрос резонный, нечем крыть,
Летит к чертям строка,
И надо, видно, докурить
Остаток табака...
Из дома вышел человек
Та-а-та с посошком...
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел, и все глядел вперед,
И все вперед глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел...
А может, снова все начать,
И бросить этот вздор?!.
Уже на ордере печать
Оттиснул прокурор...
Начнем вот эдак – пять зайчат
Решили ехать в Тверь...
А в дверь стучат, а в дверь стучат –
Пока не в эту дверь.

Пришли зайчата на вокзал,
Прошли зайчата в зальце,
И сам кассир, смеясь, сказал –
Впервые вижу зайца!
Но этот чертов человек
С веревкой и мешком,
Он и без спроса в дальний путь
Отправился пешком,
Он шел, и все глядел вперед,
И все вперед глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел...
И вот однажды поутру,
Вошел он в темный лес,
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез.
На воле – снег, на кухне – чад,
Вся комната в дыму,
А в дверь стучат,
А в дверь стучат,
На этот раз – к нему!
О чем он думает теперь,
Теперь, потом, всегда,
Когда стучит ногою в дверь
Чугунная беда?!
И тут ломается строка,
Строфа теряет стать,
И нет ни капли табака,
А *там* – уж не достать!
И надо дописать стишок,
Пока они стучат...
И значит, все-таки – мешок,
И побоку зайчат,
(А в дверь стучат!)
В двадцатый век!
(Стучат!)
Как в темный лес.
Ушел однажды человек
И навсегда исчез!..
Но Парка нить его тайком

По-прежнему прядет,
А он ушел за табаком.
Он вскорости придет.
За ним бежали сто собак,
И кот по крышам лез...
Но только в городе табак
В тот день как раз исчез.
И он пошел в Петродворец,
Потом пешком в Торжок...
Он догадался, наконец,
Зачем он взял мешок...
Он шел сквозь свет
И шел сквозь тьму,
Он был в Сибири и в Крыму,
А опер каждый день к нему
Стучится, как дурак...
И много, много лет подряд
Соседи хором говорят –
Он вышел пять минут назад,
Пошел купить табак...

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

Памяти Осипа Эмильевича Мандельштама

...в квартире, где он жил, находились он, Надежда Яковлевна и Анна Андреевна Ахматова, которая приехала его навестить из Ленинграда. И вот они сидели все вместе, пока длился обыск, до утра, и пока шел этот обыск, за стеною, тоже до утра, у соседа их, Кирсанова, ничего не знавшего об обыске, запускали пластинки с модной в ту пору гавайской гитарой...

«И только и света,
Что в звездной колючей неправде,
А жизнь промелькнет Театрального капора пеной,
И некому молвить Из табора улицы темной...»
Всю ночь за стеной ворковала гитара,
Сосед-прощелыга крутил юбилей,
А два понятых, словно два санитары,
А два понятых, словно два санитары,
Зевая, томились у черных дверей.
И жирные пальцы, с неспешной заботой,
Кромешной своей занимались работой,
И две королевы глядели в молчаньи,

Как пальцы копались в бумажном мочале,
Как жирно листали за книжкой книжку,
А сам-то король – все бочком, да вприпрыжку,
Чтоб взглядом не выдать – не та ли страница,
Чтоб рядом не видеть безглазые лица!
А пальцы искали крамолу, крамолу...
А там за стеной все гоняли «Рамону»:
«Рамона, какой простор вокруг, взгляни,
Рамона, и в целом мире мы одни».
«...А жизнь промелькнет
Театрального капора пеной...»
И глядя, как пальцы шуруют в обивке,
Вольно ж тебе было, он думал, вольно!
Глотай своего якобинства опивки!
Глотай своего якобинства опивки!
Не уксус еще, но уже не вино!
Щелкунчик-скворец, простофиля-Емеля,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?!
На что ты истратил свои золотые?!
И скучно следили за ним понятия...
А две королевы бездарно курили
И тоже казнили себя и корили –
За лень, за небрежный кивок на вокзале,
За все, что ему второпях не сказали...
А пальцы копались, и рвалась бумага...
И пел за стеной тенорок-бедолага:
«Рамона, моя любовь, мои мечты,
Рамона, везде и всюду только ты...»
«...И только и света,
Что в звездной, колючей неправде...»
По улице черной, за вороном черным,
За этой каретой, где окна крестом,
Я буду метаться в дозоре почетном,
Я буду метаться в дозоре почетном,
Пока, обессилив не рухну пластом!
Но слово останется, слово осталось!
Не к слову, а к сердцу приходит усталость,
И хочешь, не хочешь – слезай с карусели,
И хочешь, не хочешь – конец одиссеи!
Но нас не помчат паруса на Итаку:
В наш век на Итаку везут по этапу,

Везут Одиссея в телячьем вагоне,
Где только и счастья, что нету погони!
Где, выпив «ханжи», на потеху вагону,
Блатарь-одессит распевает «Рамону»:
«Рамона, ты слышишь ветра нежный зов,
Рамона, ведь это песнь любви без слов...»
«...И некому, некому,
Некому молвить
Из табора улицы темной...»

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

Памяти Осипа Эмильевича Мандельштама

...в квартире, где он жил, находились он, Надежда Яковлевна и Анна Андреевна Ахматова, которая приехала его навестить из Ленинграда. И вот они сидели все вместе, пока длился обыск, до утра, и пока шел этот обыск, за стеною, тоже до утра, у соседа их, Кирсанова, ничего не знавшего об обыске, запускали пластинки с модной в ту пору гавайской гитарой...

«И только и света,
Что в звездной колючей неправде,
А жизнь промелькнет Театрального капора пеной,
И некому молвить Из табора улицы темной...»
Всю ночь за стеной ворковала гитара,
Сосед-прощелыга крутил юбилей,
А два понятых, словно два санитары,
А два понятых, словно два санитары,
Зевая, томились у черных дверей.
И жирные пальцы, с неспешной заботой,
Кромешной своей занимались работой,
И две королевы глядели в молчаньи,
Как пальцы копались в бумажном мочале,
Как жирно листали за книжкою книжку,
А сам-то король – все бочком, да вприпрыжку,
Чтоб взглядом не выдать – не та ли страница,
Чтоб рядом не видеть безглазые лица!
А пальцы искали крамолу, крамолу...
А там за стеной все гоняли «Рамону»:
«Рамона, какой простор вокруг, взгляни,
Рамона, и в целом мире мы одни».
«...А жизнь промелькнет
Театрального капора пеной...»

И глядя, как пальцы шуруют в обивке,
Вольно ж тебе было, он думал, вольно!
Глотай своего якобинства опивки!
Глотай своего якобинства опивки!
Не уксус еще, но уже не вино!
Щелкунчик-скворец, простофиля-Емеля,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?!
На что ты истратил свои золотые?!
И скучно следили за ним понятия...
А две королевы бездарно курили
И тоже казнили себя и корили –
За лень, за небрежный кивок на вокзале,
За все, что ему второпях не сказали...
А пальцы копались, и рвалась бумага...
И пел за стеной тенорок-бедолага:
«Рамона, моя любовь, мои мечты,
Рамона, везде и всюду только ты...»
«...И только и света,
Что в звездной, колючей неправде...»
По улице черной, за вороном черным,
За этой каретой, где окна крестом,
Я буду метаться в дозоре почетном,
Я буду метаться в дозоре почетном,
Пока, обессилив не рухну пластом!
Но слово останется, слово осталось!
Не к слову, а к сердцу приходит усталость,
И хочешь, не хочешь – слезай с карусели,
И хочешь, не хочешь – конец одиссеи!
Но нас не помчат паруса на Итаку:
В наш век на Итаку везут по этапу,
Везут Одиссея в телячьем вагоне,
Где только и счастья, что нету погони!
Где, выпив «ханжи», на потеху вагону,
Блатарь-одессит распевает «Рамону»:
«Рамона, ты слышишь ветра нежный зов,
Рамона, ведь это песнь любви без слов...»
«...И некому, некому,
Некому молвить
Из табора улицы темной...»

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Повстречала девчонка бога,
Бог пил горькую в монопольке,
Ну, и много ль от бога прока,
В чертовне и чаду попойки?
Ах, как пилось к полночи!
Как в башке гудело, Как цыгане, сволочи,
Пели «Конавэлла»!
«Ай да Конавэлла, гран традела»,
Ай да йорысака палалховела»!
А девчонка сидела с богом,
К богу фасом, а к прочим боком,
Ей домой бы бежать к папане,
А она чокается шампанью.
Ай елки-мочалочки,
Сладко вина пьются
В серебряной чарочке
На золотом блюдце!
Кому чару пить?! Кому здраву быть?!
Королевичу Александровичу!
С самоваров к чертям полуда,
Чад летал над столами сотью,
А в четвертом часу под утро,
Бог последнюю кинул сотню...
Бога, пьяного в дугу,
Все теперь цукали,
И цыгане – ни гу-гу,
Разбрелись цыгане,
И друзья, допив до дна, –
Скатертью дорога!
Лишь девчонка та одна
Не бросала бога.
А девчонка эта с Охты,
И глаза у ней цвета охры,
Ждет маманя свою кровинку,
А она с богом сидит в обнимку.
И надменный половой
Шваркал мокрой тряпкой,
Бог с поникшей головой
Горбил плечи зябко.
И просил у цыган хоть слова,

Хоть немножечко, хоть чуть слышно,
А в ответ ему-жбан рассола:
Понимай, мол, что время вышло!
Вместо водочки – вода,
Вместо пива – пена!...
И девчоночка тогда
Тоненька запела:
«Ай да Конавелла, гран-традела,
Ай да йорысака палалховела...»
Ах, как пела девчонка богу!
И про поле и про дорогу,
И про сумерки и про зори,
И про милых, ушедших в море,
Ах, как пела девчонка богу!
Ах, как пела девчонка Блоку!
И не знала она, не знала,
Что бессмертной в то утро стала.
Этот тоненький голос в трактирном чаду
Будет вечно звенеть в «Соловьином саду».

САЛОННЫЙ РОМАНС

Памяти Александра Николаевича Вертинского

«...Мне снилось, что потом
В притонах Сан-Франциско,
Лиловый негр Вам подает пальто...»
И вновь эти вечные трое
Играют в преступную страсть,
И вновь эти греки из Трои
Стремятся Елену украсть.
А сердце сжимается больно,
Виски малярийно мокры
От этой игры треугольной,
Безвыигрышной этой игры.
Развей мою смуту жалейкой,
Где скрыты лады под корой,
И спой, как под старой шинелькой
Лежал «сероглазый король»
В беспамятстве дедовских кресел
Глаза я закрою, и вот –
Из рыжей Бразилии крейсер

В кисейную гавань плывет.
А гавань созвездия множит,
А тучи – летучей грядой!
Но век не вмешаться не может,
А норов у века крутой!
Он судьбы смешает, как фанты,
Ему ералаш по душе,
И вот он враля-лейтенанта
Назначит морским атташе.
На карте истории некто
Возникнет подобный мазку,
И правнук «лилового негра»
За займом приедет в Москву.
И все ему даст непременно
Тот некто, который никто,
И тихая «пани Ирена»
Наденет на негра пальто.
И так этот мир разутюжен,
Что черта ли нам на рожон?!
Нам «ужин прощальный» – не ужин,
А сто пятьдесят под боржом.
А трое? Ну, что же, что трое!
Им равное право дано.
А Троя? Разрушена Троя!
И это известно давно.
Все предано праху и тлену,
Ни дат не осталось, ни вех.
А нашу Елену – Елену
Не греки украли, а век!

ПЕСНЯ ПРО НЕСЧАСТЛИВЫХ ВОЛШЕБНИКОВ, ИЛИ ЭЙН, ЦВЕЙ, ДРЕЙ!

Жили-были несчастливые волшебники,
И учеными считались и спесивыми,
Только самые волшебные учебники
Не могли их научить, как быть счастливыми,
И какой бы не пошли они дорогою,
Все кончалось то бедою, то морокою!
Но когда маэстро Скрипочкин –

Ламца-дрица, об-ца-ца!
И давал маэстро Лампочкин
Синий свет из-за кулис,
Выходили на просцениум
Два усатых молодца,
И восторженная публика
Им кричала – браво, бис! –
В никуда взлетали голуби,
Превращались карты в кубики,
Гасли свечи стеариновые –
Зажигались фонари!
Эйн, цвей, дрей!
И отрезанные головы
У желающих из публики,
Улыбаясь и подмигивая,
Говорили – раз, два. три!
Что в дословном переводе означает –
Эйн, цвей, дрей!
Ну, а после, утомленные до сизости,
Не в наклеенных усах и не в парадности,
Шли в кафе они куда-нибудь поблизости,
Чтоб на время позабыть про неприятности,
И заказывали ужин два волшебника –
Два стакана молока и два лапшевника.
А маэстро Балалаечкин –
Ламцадрица, об-ца-ца!
И певица Доремикина
Что-то пела про луну,
И сидели очень грустные
Два усталых мудреца,
И тихонечко, задумчиво,
Говорили – ну и ну!
А вокруг шумели парочки,
Пили водку и шампанское,
Пил маэстро Балалаечкин
Третью стопку на пари –
Эйн, цвей, дрей!
И швырял ударник палочки,
А волшебники с опаскою,
Наблюдая это зрелище,
Говорили – раз, два, три!

Что, как вам уже известно, означает:
Эйн, цвей, дрей!
Так и шли они по миру безучастному,
То проезжею дорогой, то обочиной...
Только тут меня позвали к Семичастному,
И осталась эта песня неоконченной.
Объяснили мне, как дважды два в учебнике,
Что волшебники – счастливые волшебники!
И не зря играет музыка –
Ламца-дрица, об-ца-ца!
И не зря чины и звания,
Вроде ставки на кону,
И не надо бы, не надо бы,
Ради красного словца
Сочинять, что не положено
И не нужно никому!
Я хотел бы стать волшебником,
Чтоб ко мне слетались голуби,
Чтоб от слов моих, таинственных,
Зажигались фонари! –
Эйн, цвей, дрей!
Но, как пес, гремя ошейником,
Я иду повесив голову,
Не туда, куда мне хочется,
А туда, где: –
Ать-два-три!
Что ни капли не похоже
На волшебное:
– Эйн, цвей, дрей!

ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ

[\[15\]](#)

У одного поэта есть такие строчки:
В воде проживают рыбы,
На солнце бывают пятна...
Поэты дружить могли бы,
Но мнительны невероятно.
В майский вечер, пронзительно дымный,
Всех побегов герой, всех погонь,

Как он мчал, бесноватый и дивный,
С золотыми копытами конь.
И металась могучая грива,
На ветру языками огня,
И звенела цыганская гривна,
Заплетенная в гриву коня.
Воплощенье веселого гнева,
Не крещеный позорным кнутом,
Как он мчал – все налево, налево...
И скрывался из виду потом...
Он, бывало, нам снился ночами,
Как живой – от копыт до седла,
Впрочем, все это было вначале,
А начало прекрасно всегда.
Но приходит с годами прозренье,
И томит наши души оно,
Словно горькое, трезвое зелье
Подливают в хмельное вино.
Постарели мы и полысели,
И погашен волшебный огонь.
Лишь кружит на своей карусели
Сам себе опостылевший конь!
Ни печали не зная, ни гнева,
По – собачьи виляя хвостом,
Он кружит все налево, налево,
И направо, направо потом.
И унылый сморчок – бедолага,
Медяками в кармане звеня,
Карусельщик – майор из ГУЛАГа
Знай, гоняет по кругу коня!
В круглый мир, намалеванный кругло,
Круглый вход охраняет конвой...
И топчет дурацкая кукла,
И кружит деревянная кукла,
Притворяясь живой.

ПЕСНЯ ПРО ВЕЛОСИПЕД

Ах, как мне хотелось, мальчонке,
Проехать на велосипеде,
Не детском, не трехколесном, –
Взрослом велосипеде!
И мчаться навстречу соснам –
Туда, где сосны и ели, –
И чтоб из окна глядели,
Завидуя мне, соседи –
Смотрите, смотрите, смотрите,
Смотрите, мальчишка едет
На взрослом велосипеде!..
...Ехал мальчишка по улице
На взрослом велосипеде.
– Наркомовский Петька, умница, –
Шептались вокруг соседи.
Я крикнул – дай прокатиться! –
А он ничего не ответил,
Он ехал медленно, медленно,
А я бы летел, как ветер,
А я бы звоночком цокал,
А я бы крутил педали,
Промчался бы мимо окон –
И только б меня видали!..
... Теперь у меня в передней
Пылится велосипед.
Пылится уже, наверно,
С добрый десяток лет.
Но только того мальчишки
Больше на свете нет,
А взрослому, мне не нужен
Взрослый велосипед!
Ох, как мне хочется, взрослому,
Потрогать пальцами книжку,
И прочесть на обложке фамилию,
Не чью-нибудь, а мою!..
Нельзя воскресить мальчишку,
Считайте – погиб в бою...
Но если нельзя – мальчишку,
И в прошлое ни на шаг,
То книжку-то можно?!

Книжку!
Ее – почему никак?!
Величественный, как росчерк,
Он книжки держал под мышкой.
– Привет тебе, друг-доносчик,
Привет тебе, с новой книжкой!
Партийная Илиада!
Подарочный холуяж!
Не надо мне так, не надо –
Пусть тысяча – весь тираж!
Дорого с суперобложкой?
К черту суперобложку!
Но нету суперобложки,
И переплета нет,
...Немножко пройдет, немножко,
Каких-нибудь тридцать лет,
И вот она, эта книжка,
Не в будущем, в этом веке!
Снимает ее мальчишка
С полки в библиотеке!
А вы говорили – бредни!
А вот через тридцать лет...
Пылится в моей передней
Взрослый велосипед.

ЮЗ

По стеклу машины перед глазами шофера
Бегают дворники направо-налево,
Направо-налево, направо-налево...
Не летят к нам птицы с теплого юга,
Улетают птицы на теплый юг,
Почему-то надо бояться юза,
А никто не знает, что такое юз,
Ах, никто не знает, что, такое юз!
Телефон молчит мой, а это скверно.
Я-то понимаю, что дело в том,
Ты сейчас под зонтом ходишь, наверно,
А под зонтиком трудно ходить вдвоем.
Ах, под зонтиком трудно ходить вдвоем!
И под медленным дождиком мокнет муза,
И у дождика странный, соленый вкус,

Может, муза тоже боится юза?!
И не знает тоже, что значит юз?!
Ах, не знает муза, что значит юз!
По стеклу машины перед глазами шофера
Бегают дворники направо-налево,
Направо-налево, направо-налево...

«ОТ БЕДЫ МОЕЙ ПУСТЯКОВОЙ...»

Моей матери
От беды моей пустяковой
(Хоть не прошен и не в чести),
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!
Сатанея от мелких каверз,
Пересудов и глупых ссор,
О тебе я не помнил, каюсь,
И не звал тебя до сих пор.
И, как все горожане, грешен,
Не искал я твой детский след,
Не умел замечать скворешен
И не помнил, как пахнет снег.
...Свет ложился на подоконник,
Затевал на полу возню,
Он – охальник и беззаконник –
Забирался под простыню,
Разливался, пропахший светом,
Голос дудочки в тишине...
Только я позабыл об этом
Навсегда, как казалось мне.
В жизни глупой и бестолковой,
Постоянно сбиваясь с ног,
Пенье дудочки тростниковой
Я сквозь шум различить не смог.
Но однажды, в дубовой ложе,
Я, поставленный на правеж,
Вдруг увидел такие рожи –
Пострашней карнавальных рож!
Не медведи, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова, –
Были лица – почти как лица,

И почти как слова – слова.
Все обличье чиновной драни
Новомодного образца
Изрыгало потоки брани
Без начала и без конца
За квадратным столом, по кругу,
В ореоле моей вины,
Все твердили они друг другу,
Что друг другу они верны!
И тогда, как свеча в потемки,
Вдруг из давних приплыл годов
Звук пленительный и негромкий
Тростниковых твоих ладов.
И застыли кривые рожи,
Разевая немые рты,
Словно пугала из рогожи,
Петухи у слепой черты.
И отвесив, я думал, – дерзкий,
А на деле смешной поклон,
Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.
В жизни прежней и в жизни новой
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

«КОШАЧЬИМИ ЛАПАМИ ВЕРБЫ...»

Кошачьими лапами вербы
Украшен фанерный лоток,
Шампанского марки «ихъ шбэрбе»
Еще остается глоток.
А я и пригубить не смею
Смертельное это вино,
Подобно лукавому змею,
Меня искушает оно!
«Подумаешь, пахнет весною,
И вербой торгуют в раздрыг,
Во первых строках – привозною
И дело не в том, во вторых.
Ни в медленном тлении весен,

Ни в тихом бряцаньи строки,
Ни в медленном таяньи весел
Над желтой купелью реки –
Ни лада, ни смысла, ни склада,
Как в громе, гремящем в дали,
А только и есть, что ограда
Да мерзлые комья земли.
А только и есть, что ограда
Да склепа сырое жилье...
Ты смертен, и это награда
Тебе – за бессмертье Твое...»

ПРОЩАНИЕ С ГИТАРОЙ

(Подражание Аполлону Григорьеву)

«...Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, как скучно мне с тобой, моя душечка»
Осенняя простудная,
Печальная пора,
Гитара семиструнная,
Ни пуха, ни пера!
Ты с виду – тонкорунная,
На слух – ворожея,
Подруга семиструнная,
Прелестница моя!
Ах, как ты пела смолоду,
Вся музыка и стать,
Что трудно было голову
С тобой не потерять!
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, как плыла голова, моя душечка!
Когда ж ты стала каяться
В преклонные лета,
И стать не та, красавица,
И музыка не та!
Все в говорок про странствия,
Про ночи у костра,
Была б, мол, только санкция,

Романтики сестра.
Романтика, романтика
Небесных колеров!
Нехитрая грамматика
Небитых школяров.
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, как скушно мне с тобой, моя душечка!
И вот, как дождь по луночке,
Который год подряд,
Все на одной на струночке,
А шесть других молчат.
И лишь за тем без просыпа
Разыгрываешь страсть,
Что, может, та, курносая,
«Послушает и даст»...
Так и живешь, бездумная,
В приятности примет,
Гитара однострунная –
Полезный инструмент!
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, не совестно ль тебе, моя душечка!
Плевать, что стала курвою,
Что стать под стать блядям,
Зато номенклатурная,
Зато нужна людям!
А что души касается,
Про то забыть пора.
Ну что ж, прощай красавица!
Ни пуха, ни пера!
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Что ж, ни пуха, ни пера, моя душечка!

ЧЕРНОВИК ЭПИТАФИИ

Худо было мне, люди, худо...
Но едва лишь начну про это,
Люди спрашивают – откуда,
Где подслушано, кем напето?
Дуралеи спешат смеяться,
Чистоплюи воротят морду...
Как легко мне было сломаться,
И сорваться, и спиться к черту!

Не моя это, вроде, боль,
Так чего ж я кидаюсь в бой?
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведет труба!
Сколько раз на меня стучали,
И дивились, что я на воле,
Ну, а если б я гнил в Сучане,
Вам бы легче дышалось, что ли?
И яснее б вам, что ли, было,
Где – по совести, а где – кроме?
И зачем я, как сторож в било,
Сам в себя колочусь до крови?!
И какая, к чертям судьба?
И какая, к чертям, труба?
Мне б частушкой по струнам, в лет,
Да гитара, как видно, врет!
А хотелось-то мне в дорогу,
Налегке при попутном ветре,
Я бы пил молоко, ей-Богу,
Я б в лесу ночевал, поверьте!
И шагал бы как вольный цыган,
Никого бы нигде не трогал,
Я б во Пскове по-птичьи цыкал,
И округло на Волге окал,
И частушкой по струнам в лет,
Да гитара, как видно, врет,
Лишь мучительна и странна,
Все одна дребезжит струна!
Понимаю, что просьба тщетна,
Поминают – поименитей!
Ну, не тризною, так хоть чем-то,
Хоть всухую, да помяните!
Хоть за то, что я верил в чудо,
И за песни, что пел без склада,
А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо!
И мучительна и странна,
Все одна дребезжит струна,
И приладиться к ней, ничьей,
Пусть попробует, кто ловчей!
А я не мог!

ПЕСНЯ

Телефон, нишкни, замолкни!
Говорить – охоты нет.
Мы готовимся к зимовке,
Нам прожить на той зимовке
Предстоит немало лет.
Может, десять, может, девять.
Кто подскажет наперед?!
Что-то, вроде, надо делать,
А вот то и надо делать,
Что готовиться в поход.
Будем в списке ставить птички,
Проверять по многу раз;
Не забыть бы соль и спички,
Не забыть бы соль и спички,
Взять бы сахар про запас.
Мы и карту нарисуем!
Скоро в путь!
Ничего, перезимуем.
Как-нибудь перезимуем
Как-нибудь.
Погромыхивает еле
Отгулявшая гроза...
Мы заткнем в палатке щели,
Чтобы люди в эти щели
Не таращили глаза.
Никакого нету толка
Разбираться – чья вина?!
На зимовке очень долго,
На зимовке страшно долго
Длятся ночь и тишина.
Мы потуже стянем пояс –
Порастай беда быльем!
Наша льдина не на полюс,
Мы подальше, чем на полюс, –
В одиночество плывем!
Мы плывем и в ус не дуем,
В путь так в путь!
Ничего, перезимуем.
Как-нибудь!
Перезимуем

Как-нибудь!
Годы, месяцы, недели
Держим путь на свой причал,
Но, признаться, в самом деле
Я добравшихся до цели
Почему-то не встречал.
Зажелтит заката охра,
Небо в саже и в золе
Сквозь зашторенные окна...
Строго смотрят окна в окна,
Все зимовки на земле.
И не надо переклички,
Понимаем все и так...
Будем в списке ставить птички...
Не забыть бы соль и спички,
Сахар мыло и табак.
Мы, ей-Богу, не горюем.
Время – в путь.
Ничего, перезимуем.
Как-нибудь перезимуем,
Как-нибудь.

КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать,
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да я с племянницей гулял с тетипашиной, ^[16]
И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники.
Поясок ей покупал поролоновый, ^[17]
И в палату с ней ходил Грановитую,
А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границей.
А вернулась, ей привет – анонимочка,
На фотоснимочке стою – я и Ниночка. ^[18]
Просыпаюсь утром – нет моей кисочки,
Ни вещичек ее нет, ни записочки,
Нет как нет,
Ну: прямо, нет как нет!
Я к ней, в ВЦСПС, в ноги падаю,
Говорю, что все во мне переломано,
Не серчай, что я гулял с этой падлою,

Ты прости меня, товарищ Парамонова!
А она как закричит, вся стала черная –
Я на слезы на твои – ноль внимания,
Ты мне лазаря не пой, я ученая,
Ты людям все Расскажи на собрании!
И кричит она, дрожит, голос слабенький,
А холуи уж тут как тут, каплют капельки,
И Тамарка Шестопал, и Ванька Дерганов,
И еще тот референт, что из «органов».
Тут как тут,
Ну, прямо, тут как тут!
В общем, ладно, прихожу на собрание,
А дело было, как сейчас помню, первого.
Я, конечно, бюллетень взял заранее
И бумажку из диспансера нервного.
А Парамонова сидит, вся в новом шарфике,
А как увидела меня, вся стала красная,
У них первый был вопрос – свободу Африке! –
А потом уж про меня – в части «разное».
Ну как про Гану – все в буфет за сардельками,
Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами.
А как вызвали меня, я свял от робости,
А из зала мне кричат – давай подробности! –
Все, как есть,
Ну, прямо, все, как есть!
Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать,
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да, я с племянницей гулял, с тетипашиной,
И в «Пекин» ее водил и в Сокольники,
И в моральном, говорю, моем облике
Есть растленное влияние Запада,
Но живем ведь, говорю, не на облаке,
Это ж только, говорю, соль без запаха!
И на жалость я их брал, и испытывал,
И бумажку, что от психа, вычитывал, [\[19\]](#)
Ну, поздравили меня с воскресением,
Залепили строгаचा с занесением!
Ой, ой, ой,
Ну, прямо, ой, ой, ой...
Взял я тут цветов букет покрасивее,
Стал к подъезду номер семь, для начальников,

А Парамонова: как вышла, вся стала синяя,
Села в «Волгу» без меня, и отчалила!
И тогда прямым путем в раздевалку я,
И тете Паше говорю, мол, буду вечером,
А она мне говорит – с аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.
И племянница ее, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое,
Она всю свою морковь нынче продала,
И домой, по месту жительства, отбыла.
Вот те на,
Ну, прямо, вот те на!
Я иду тогда в райком, шлю записочку,
Мол, прошу принять, по личному делу я,
А у Грошевой как раз моя кисочка,
Как увидела меня, вся стала белая!
И сидим мы у стола с нею рядышком,
И с улыбкой говорит товарищ Грошева –
Схлопотал он строгача, ну и ладушки,
Помиритесь вы теперь, по-хорошему.
И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку,
И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку,
Она выпила «дюрсо», а я «перцовую»
За советскую семью образцовую!
Вот и все!

ВЕСЕЛЫЙ РАЗГОВОР

А ей мама, ну, во всем потакала,
Красной Шапочкой звала, пташкой вольной,
Ей какава по утрам два стакана,
А сама чайку попьет – и довольна.
А как маму схоронили в июле,
В доме денег – ни гроша, ни бумаги,
Но нашлись на свете добрые люди:
Обучили на кассиршу в продмаге.
И сидит она в этой кассе,
Как на месте публичной казни,
А касса щелкает, касса щелкает,
Скушал Шапочку Серый Волк!
И трясет она черной челкою,

А касса: щелк, щелк, щелк,
Ах, веселый разговор!
Начал Званцев ей, завмаг, делать пассы:
«Интересно бы узнать, что за птица?»
А она ему в ответ из-за кассы, –
Дожидаюсь, мол, прекрасного принца.
Всех отшила, одного не отшила,
Называла его милым Алешей,
Был он техником по счетным машинам,
Хоть и лысый, и еврей, но хороший,
А тут как раз война, а он в запасе,
Прокричала ночь и снова к кассе.
А касса щелкает, касса щелкает,
А под Щелковым – в щепки полк!
И трясет она пегой челкою,
А касса: щелк, щелк, щелк,
Ах, веселый разговор...
Как случилось – ей вчера ж было двадцать,
А уж доченьке девятый годочек,
И опять к ней подъезжать начал Званцев,
А она про то и слушать не хочет.
Ну, и стукнул он, со зла, не иначе,
Сам не рад, да не пойдешь на попятный,
Обнаружили ее в недостатке,
Привлекли ее по сто тридцать пятой.
На этап пошла по указу,
А там амнистия, и снова в кассу.
А касса щелкает, касса щелкает,
Засекается ваш крючок!
И трясет она рыжей челкою,
А касса: щелк, щелк, щелк,
Ах, веселый разговор!
Уж любила она дочку, растила,
Оглянуться не успела – той двадцать!
Ой, зачем она в продмаг зачастила,
Ой, зачем ей улыбается Званцев?!
А как свадебку сыграли в июле,
Было шумно на Песчанной, на нашей,
Говорят в парадных добрые люди,
Что зовет ее, мол, Званцев «мамашей».
И сидит она в своей кассе,

А у ней внучок – в первом классе.
А касса щелкает, касса щелкает,
Не копеечкам – жизни счет!
И трясет она белой челкою,
А касса: щелк, щелк, щелк,
Ах, веселый разговор...

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Она вещи собрала, сказала тоненько:
«А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою!
Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папы у ее топтун под окнами,
А что у папы у ее дача в Павшине,
А что у папы холуи с секретаршами,
А что у папы у ее пайки цековские,
И по праздникам кино с Целиковскою!
А что Тонька-то твоя сильно страшная –
Ты не слушай меня, я вчерашняя!
И с доскою будешь спать со стиральной
За машину за его персональную...
Вот чего ты захотел, и знаешь сам,
Знаешь сам, да стесняешься,
Про любовь твердишь, про доверие,
Про высокие, про материи...
А в глазах-то у тебя дача в Павшине,
Холуи да топтуны с секретаршами,
И как вы смотрите кино всей семейкою,
И как счастье на губах – карамелькою...»
Я живу теперь в дому – чаша полная,
Даже брюки у меня – и те на молнии,
А вина у нас в дому – как из кладезя,
А сортир у нас в дому – восемь на десять...
А папаша приезжает сам к полуночи,
Топтуны да холуи все тут по струночке!
Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про абрамчиков!
А как спать ложусь в кровать с дурой-Тонькою,
Вспоминаю той, другой, голос тоненький,
Уж, характер у нее – прямо бешеный,
Я звоню ей, а она трубку вешает...

Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино,
В Останкино, где «Титан» кино,
Там работает она билетершею,
На дверях стоит вся замерзшая,
Вся замерзшая, вся продрогшая,
Но любовь свою превозмогшая,
Вся иззябшая, вся простывшая,
Но не предавшая и не простившая!

ЛЕНОЧКА

Апрельской ночью Леночка
Стояла на посту.
Красоточка-шатеночка
Стояла на посту.
Прекрасная и гордая,
Заметна за версту,
У выезда из города
Стояла на посту.
Судьба милиционерская –
Ругайся цельный день,
Хоть скромная, хоть дерзкая –
Ругайся цельный день,
Гулять бы ей с подругами
И нюхать бы сирень!
А надо с шоферюгами
Ругаться целый день.
Итак, стояла Леночка,
Милиции сержант,
Останкинская девочка,
Милиции сержант.
Иной снимает пеночки,
Любому свой талант,
А Леночка, а Леночка –
Милиции сержант.
Как вдруг она заметила –
Огни летят, огни,
К Москве из Шереметьева
Огни летят, огни.
Ревут сирены зычные,
Прохожий – ни-ни-ни!

На Лену заграничные
Огни летят, огни!
Дает отмашку Леночка,
А ручка не дрожит,
Чуть-чуть дрожит коленочка,
А ручка не дрожит.
Машины, чай, не в шашечку,
Колеса – вжик да вжик!
Дает она отмашечку,
А ручка не дрожит.
Как вдруг машина главная
Свой замедляет ход,
Хоть и была исправная,
Но замедляет ход.
Вокруг охрана стеночкой
Из КГБ, но вот
Машина рядом с Леночкой
Свой замедляет ход.
А в той машине писанный
Красавец-эфиоп,
Глядит на Лену пристально
Красавец-эфиоп.
И встав с подушки кремовой,
Не промахнуться чтоб,
Бросает хризантему ей
Красавец эфиоп!
А утром мчится нарочный
ЦК КПСС
В мотоциклете марочной
ЦК КПСС.
Он машет Лене шляпою,
Спешит наперерез –
Пожалте, Л. Потапова,
В ЦК КПСС!
А там на Старой площади,
Тот самый эфиоп,
Он принимает почести,
Тот самый эфиоп,
Он чинно благодарствует
И трет ладонью лоб,
Поскольку званья царского

Тот самый эфиоп!
Уж свита водки выпила,
А он глядит на дверь,
Сидит с моделью вымпела
И все глядит на дверь.
Все потчуют союзника,
А он сопит, как зверь,
Но тут раздалась музыка
И отворилась дверь:
Вся в тюле и в панбархате
В зал Леночка вошла,
Все прямо так и ахнули,
Когда она вошла.
А сам красавец царственный,
Ахмет Али-Паша Воскликнул: –
Вот так здравствуйте! –
Когда она вошла.
И вскоре нашу Леночку
Узнал весь белый свет,
Останкинскую девочку
Узнал весь белый свет –
Когда, покончив с папою,
Стал шахом принц Ахмет,
Шахиню Л. Потапову
Узнал весь белый свет!

КОМАНДИРОВОЧНАЯ ПАСТОРАЛЬ

То ли шлюха ты, то ли странница,
Вроде хочется, только колется,
Что-то сбудется, что-то станется,
Чем душа твоя успокоится?
А то и станется, что подкинется,
Будут волосы все распатланы,
Общежитие да гостиница –
Вот дворцы, твои, клеопатровы,
Сядь, не бойся, выпьем водочки,
Чай, живая, не покойница!
Коньячок? Четыре звездочки?
Коньячок – он тоже колется...
Гитарист пошел тренди-бренделями,

Саксофон хрипит, как удушенный,
Все, что думалось, стало бреднями,
Обманул «Христос» новоявленный!
Спой, гитара, нам про страдания,
Про глаза нам спой, и про пальцы,
Будто есть страна Пасторалия,
Будто мы с тобой пасторальцы.
Под столом нарежем сальца,
И плевать на всех на тутошних,
Балычок? Прости, кусается...
Никаких не хватает суточных.
Расскажи ж ты мне, белка белая,
Чем ты, глупая озабочена,
Что ты делала, где ты бегала?
Отчего в глазах червоточина?
Туфли лодочкой на полу-то чьи?
Чья на креслице юбка черная?
Наш роман с тобой до полуночи,
Курва – здешняя коридорная!
Влипнешь в данной ситуации,
И пыли потом, как конница,
Мне – к семи, тебе – к двенадцати,
Очень рад был познакомиться!
До свиданья, до свиданья,
Будьте счастливы и так далее,
А хотелось нам, чтоб страдания,
А хотелось, чтоб Пасторалия!
Но, видно, здоровы мы усталые,
От анкет у нас в кляксах пальцы!
Мы живем в стране Постоялии –
Называемся – постояльцы...

Из к/ф «Бегущая по волнам»

Все наладится, образуется,
Так, что незачем зря тревожиться.
Все, безумные образуются,
Все итоги, непременно подытожатся.
Были гром и град, были бедствия –
Будут тишь да гладь, благоденствие,
Ах, благоденствие!

Все наладится, образуется,
Виноватые станут судьями
Что забудется, то забудется
Сказки, сказками, будни – буднями
Все наладится, образуется,
Никаких тревог не останется
И покуда не наказуется
Безнаказанно мирно будем стариться
Вот он скачет, витязь удалой,
С чудищем стоглавым силой меряясь.
И плевать ему на ту, что эту перевязь
Штопала заботливой иглой.
Мы не пели славы палачам,
Удержались, выдержали, выжили
Но тихонько, чтобы мы не слышали
Жены наши плачут по ночам...

АБСОЛЮТНО ЕРУНДОВАЯ ПЕСНЯ (*анти – песня*)

Собаки бывают дуры,
И кошки бывают дуры.
Но это не отражается
На стройности их фигуры.
Не в глупости и не в дикости –
Все дело в статях и прикусе.
Кто стройные – те достойные,
А прочие – на-ка, выкуси!
И важничая, как в опере,
Шагают суки и кобели,
Позвякивают медальками,
Которыми их сподобили.
Шагают с осанкой гордою,
К любому случаю годною,
Посматривают презрительно
На тех, кто не вышел мордою.
Рожденным медаленосителями
Не быть никогда просителями,
Самой судьбой им назначено
В собачьем сидеть президиуме

Собаки бывают дуры,
И кошки бывают дуры.
И им по этой причине
Нельзя без номенклатуры.

КАНАРЕЙКА

Кто разводит безгласных рыбок,
Кто, забавник, свистит в свирельку,
А я поеду на птичий рынок
И куплю себе канарейку.
Все полста отвалю, не гривну,
Привезу ее, суку, на дом,
Обучу канарейку Гимну,
Благо, слов никаких не надо.
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет...
Канареечка, канарейка,
Птица малая, вроде мухи.
А кому судьба – карамелька,
А кому она – одни муки.
Не в Сарапуле и не в Жиздре,
Жил в Москве я – в столице мира.
А что видел я в этой жизни,
Окромя веревки, да мыла?
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет...
Но сносил я полсотни тапок,
Был загубленным, был спасенным.
А мне, глупому, лучше б в табор, –
Лошадей воровать по селам.
Прохиндей, шарлатан, провидец,
Я б в веселый час под забором
Я б на головы всех правительств
Положил бы свой хуй с прибором.
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет...

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ, ИЛИ КАК ЭТО ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

(рассказ закройщика)

Ну, была она жуткою шельмою,
Одевалась в джерси и в мохер,
И звалась эта девочка Шейлоу,
На гнилой иностранный манер.
Отличалась упрямством отчаянным –
Что захочем, мол, то и возьмем...
Ее маму за связь с англичанином
Залопатили в сорок восьмом.
Было все – и приютская коечка,
Фотоснимочки в профиль и в фас,
А по ней и не скажешь нисколечко,
Прямо дамочка – маде ин франс!
Не стирала по знакомым пеленки,
А служила в ателье на приемке,
Оформляла исключительно шибко,
И очки еще носила для шика,
И оправка на них роговая,
Словом, дамочка вполне роковая,
Роковая, говорю, роковая,
Роковая, прямо, как таковая!
Только сердце ей, вроде как, заперли,
На признанья смеялась – вранье!
Два закройщика с брючником запили
Исключительно через нее!
Не смеяться бы, надо молиться ей,
Жизнь ее и прижала за то,
Вот однажды сержант из милиции
Сдал в пошив ей букле на пальто.
И она, хоть прикинулась чинною,
Но бросала украдкою взгляд,
Был и впрямь он заметным мужчиною –
Рост четвертый, размер пятьдесят.
И начались тут у них трали-валм,
Совершенно, то есть стыд потеряли,

Позабыли, что для нашей эпохи,
Не годятся эти «ахи» и «охи».
Он трезвонит ей, от дел отвлекает,
Сообщите, мол, как жизнь протекает...
Протекает, говорит, протекает...
Мы-то знаем – на чего намекает!
Вот однажды сержант из милиции
У «Динамо» стоял на посту,
Натурально, при всей амуниции,
Со свистком мелодичным во рту.
Вот он видит – идет его Шейлочка
И, заметьте, идет не одна!
Он встряхнул головой хорошенечко –
Видит – это и вправду она.
И тогда, как алкаш на посудинку,
Невзирая на свист и гудки,
Он бросается к Шейлину спутнику
И хватает его за грудки!
Ой, сержант, вы пальцем в небо попали!
То ж не хахаль был, а Шейлин папаня!
Он приехал повидаться с дочуркой
И не ждал такой проделки нечуткой!
Он приехал из родимого Глазго,
А ему суют по рылу, как назло,
Прямо назло, говорю, прямо назло,
Прямо ихней пропаганде, как масло!
Ну, начались тут трения с Лондоном,
Взяли наших посольских в клещи!
Раз, мол, вы оскорбляете лорда нам,
Мы вам тоже напомним в ши!
А как приняли лорды решение
Выслать этих, и третьих и др... –
Наш сержант получил повышение,
Как борец за прогресс и за мир!
И никто и не вспомнил о Шейлочке,
Только брючник надрался – балда!
Ну, а Шейлочку в «раковой шеечке»
Увезли неизвестно куда!
Приходили два хмыря из Минздрава –
Чуть не сутки проторчали у зава.
Он нам после доложил на летучке,

Что у ней, мол, со здоровьем лучше.
Это ж с психа, говорит, ваша дружба
Не встречала в ней ответа, как нужно!
Так, как нужно, говорит, так, как нужно..
Ох, до чего ж все, братцы, тошно и скушно!

ПРО МАЛЯРОВ, ИСТОПНИКА И ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Чувствуем с напарником – ну и ну,
Ноги прямо ватные, все в дыму,
Чувствуем – нуждаемся в отдыхе,
Чтой-то нехорошее в воздухе.
Взяли «жигулевского» и «дубняка»
Третьим пригласили истопника,
Приняли, добавили еще раза,
Тут нам истопник и открыл глаза –
Про ужасную историю
Про Москву и про Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари.
Все теперь на шарике вкривь и вкось,
Шиворот-навыворот, набекрень,
И что мы с вами думаем день – ночь,
А что мы с вами думаем ночь – день.
И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу – невпроворот,
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот.
И там где полюс был, там тропики,
А где Нью-Йорк – Нахичевань,
А что мы люди, а не бобики,
Им на это наплевать!
Рассказал нам все это истопник,
Вижу, мой напарник, ну, прямо сник, –
Раз такое дело – гори огнем!
Больше мы малярничать не пойдем! –
Взяли в поликлинике бюллетень,
Нам башку работою не морочь!
И что ж тут за работа, если ночью день,
А потом обратно не день, а ночь!

И при всей квалификации
Тут возможен перекося,
Это ж все-таки радиация,
А не просто купорос!
Пятую неделю я не сплю с женой,
Пятую неделю я хожу больной,
Тоже и напарник мой плачется,
Дескать, он отравленный начисто.
И лечусь «столичною» лично я,
Чтобы мне с ума не стронуться,
Истопник сказал – «столичная» –
Очень хороша от стронция.
И то я верю, то не верится,
Что минует та беда...
А шарик вертится и вертится,
И все время не туда!

Я ПРИНИМАЮ УЧАСТИЕ В НАУЧНОМ СПОРЕ

...между доктором филологических наук, проф. Б.А. Бяликом и действительным членом Академии наук СССР С.Л. Соболевым по вопросу о том, может ли машина мыслить.

Я не чикался на курсах не зубрил сопромат,
Я вполне в научном мире личность лишняя.
Но вот чего я усек:
Газированной водой торговал автомат,
За копейку – без сиропа, за три с вишнею.
И с такой торговал вольностью,
Что за час его весь выпили,
Стаканы наливал полностью,
А людям никакой прибыли,
А людям никакой выгоды,
Ни на зуб с дуплом компенсации,
Стали люди искать выхода
Из безвыходной ситуации.
Сели думать тут ребята, кто в беде виноват,
Где в конструкции ошибка, в чем неправильность,
Разобрали тут ребята весь как есть автомат,
Разобрали, устранили в нем несправедность.

А теперь крути, а то выпорем,
Станешь, дура, тогда умною,
Приспособим тебя к выборам,
Будешь в елках стоять урною.
Ты кончай, автомат, школьничать,
Ты кончай, автомат, умничать!
Мы отучим тебя вольничать,
Мы научим тебя жульничать.
Он повкалывал недельку – с ним обратно беда –
Весь затрясся он, как заяц под стужею,
Не поймешь, чего он каплет – не сироп, не вода,
Может, краска, может, смазка, может, хуже.
И стоит, на всех шавкой злобится,
То он плачет, то матюкается.
Это люди – те приспособятся,
А машина – та засекается!
Так и стал автомат шизиком,
Всех пугает своим видиком,
Ничего не понять физикам,
Не понять ничего лирикам.
Так давайте ж друг у друга не воруйте идей,
Не валите друг на друга свои горести,
И вот чего я вам скажу:
Может станут автоматы не глупее людей,
Только очень это будет не вскорости!

ЖУТКОЕ СТОЛЕТИЕ

Посвящается Е. С. Вентцель
В понедельник, дело было к вечеру,
Голова болела, прямо адово,
Заявляюсь я в гараж, к диспетчеру,
Говорю, что мне уехать надобно.
Говорю, давай путевку выпиши,
Чтоб куда подале, да посеверней,
Ты меня не нюхай, я не выпивши,
Это я с тоски такой рассеянный.
Я гулял на свадьбе в воскресенье,
Тыкал вилкой в винегрет, закусывал,

Только я не пил за счастье Ксенино,
И вообще не пил, а так... присутствовал.
Я ни шкалика, и ни полшкалика,
А сидел жевал горбушку черного,
Все глядел на Ксенькина очкарика,
Как он строил из себя ученого.
А я, может, сам из семинарии,
Может, шоферюга я по случаю,
Вижу, даже гости закемарили,
Даже Ксенька, вижу, туча тучею.
Ну, а он поет, как хор у всенощной,
Все про иксы, игреки да синусы,
А костюмчик – и взглянуть-то не на что –
Индпошив, фасончик – на-ка, выкуси!
И живет-то он не в Дубне атомной,
А в НИИ каком-то под Каширою,
Врет, что он там шеф над автоматною
Электронно-счетною машиною.
Дескать, он прикажет ей, помножь-ка мне
Двадцать пять на девять с одной сотею,
И сидит потом, болтает ножками,
Сам сачкует, а она работает.
А она работает без ропота,
Огоньки на пульте обтекаемом!
Ну, а нам-то, нам-то среди роботов,
Нам что делать людям неприкаянным?!
В общем, слушал я как замороженный,
А потом меня как чтой-то подняло,
Встал, сказал – за счастье новорожденной!
Может, кто не понял, – Ксенька поняла!
И ушел я, не было двенадцати,
Хлопнул дверью – празднуйте, соколики!
И в какой-то, вроде бы, прострации
Я дошел до станции Сокольники.
В автомат пятак засунул молча я,
Будто бы в копилку на часовенку,
Ну, а он залязгал, сука волчая,
И порвал штаны мне снизу доверху.
Дальше я не помню, дальше – кончики!
Плакал я и бил его ботинкою,
Шухера свистели в колокольчики,

Граждане смеялись над картинкою...
Так, давай, папаша, будь союзником,
До суда поезжу дни последние,
Ах, обрыдла мне вся эта музыка,
Это автоматное столетие!

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ В СОПОТЕ В АВГУСТЕ 1969

Над черной пажитью разрухи,
Над миром проклятым людьми,
Поют девчонки о разлуке,
Поют мальчишки о любви!
Они глядят на нас с тревогой
И не умеют скрыть испуг,
Но наши страхи, наши боги
Для них – пустой и жалкий звук.
И наши прошлые святыни –
Для них – пустые имена,
И правда та, что посередине,
И им и нам еще темна!
И слышит Прага, слышит Сопот,
Истошный шепот: «Тру-ля-ля!»
Но пробивается сквозь шепот
Кирзовый топот патруля!
Нас отпустили на поруки,
На год, на час, на пять минут,
Поют девчонки о разлуке,
Мальчишки о любви поют!
Они лады перебирают,
Как будто лезут на рожон,
Они слова перевирают,
То в соль-мажор, то в ре-мажор.
А я крестом раскинув руки,
Как оступившийся минер –
Все о беде и о разрухе,
Все в ре-минор, да в ре-минор...

ГОРЕСТНАЯ ОДА СЧАСТЛИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Посвящается Петру Григорьевичу Григоренко

Когда хлестали молнии в ковчег,
Воскликнул Ной, предупреждая страхи:
«Не бойтесь, я счастливый человек,
Я человек, родившийся в рубахе!»
Родившийся в рубахе человек!
Мудрейшие, почтеннейшие лица
С тех самых пор, уже который век,
Напрасно ищут этого счастливца.
Который век все нет его и нет,
Лишь горемыки прут без перебоя,
И горячат умы, и застыт свет,
А Ной наврал, как видно, с перепоя!
И стал он утешеньем для калек,
И стал героем сказочных забавок, –
Родившийся в рубашке человек,
Мечта горластых повивальных бабок!
А я гляжу в окно на грязный снег,
На очередь к табачному киоску,
И вижу, как счастливый человек
Стоит и разминает папироску.
Он брал Берлин! Он, правда, брал Берлин,
И врал про это скучно и нелепо,
И вышибал со злости клином клин,
И шифер с базы угонял «налево».
Вот он выходит в стужу из кино,
И сам не зная про свою особость,
Мальчонке покупает «эскимо»,
И лезет в переполненный автобус.
Он водку пил и пил одеколон,
Он песни пел и женщин брал нахрапом!
А сколько он повкалывал кайлом!
А сколько он протопал по этапам!
И сух был хлеб его, и прост ночлег!
Но все народы перед ним – во прахе.
Вот он стоит – счастливый человек,
Родившийся в *смирительной* рубахе!

ПЕСНЯ О ТБИЛИСИ

«На холмах Грузии лежит ночная мгла.»

Я не сумел понять
Тебя в тот раз,
Когда в туманы зимние оправлен,
Ты убегал от посторонних глаз,
Но все же был прекрасен без прикрас,
И это я был злобою отравлен.
И ты меня провел, на том пиру,
Где до рассвета продолжалось бдение,
А захмелел – и головой в Куру,
И где уж тут заметить поутру
В глазах хозяйки скучное презренье!
Вокруг меня сомкнулся, как кольцо,
Твой вечный шум в отливах и прибоях.
Потягивая кислое винцо,
Я узнавал усатое лицо
В любом пятне на выцветших обоях.
И вновь зурна вступала в разговор,
И вновь с бокалом истово и пылко
Болтает вздор подонок и позер...
А мне почти был сладок твой позор,
Твоя невиноватая ухмылка.
И в самолете, по пути домой,
Я наблюдал злорадно, как грузины,
В Москву, еще объятую зимой,
Везут мешки с оранжевой хурмой,
И с первою мимозою корзины.
И я не понял, я понять не мог,
Какую ты торжествовал победу,
Какой ты дал мне гордости урок,
Когда кружил меня, сбивая с ног,
По ложному придуманному следу!
И это все – и Сталин, и хурма,
И дым застолья, и рассветный кочет, –
Все для того, чтоб не сойти с ума,
А суть Твоя является сама,
Но лишь, когда сама того захочет!
Тогда тускнеют лживые следы,
И начинают раны врачеваться,
И озаряет склоны Мтацминды

Надменный голос счастья и беды,
Нетленный голос Нины Чавчавадзе!
Прекрасная и гордая страна!
Ты отвечаешь шуткой на злословье.
Но криком вдруг срывается зурна,
И в каждой капле кислого вина
Есть неизменно сладкий привкус крови!
Когда дымки плывут из-за реки,
И день дурной синоптики пророчат,
Я вижу, как горят черновики!
Я слышу, как гудят черновики
И сапоги охранников грохочут –
И топчут каблуками тишину,
И женщины не спят, и плачут дети,
Грохочут сапоги на всю страну!
А Ты приемлешь горе, как вино,
Как будто только Ты за все в ответе!
Не остывает в кулаке зола,
Все в мерзлый камень памятью одето,
Все, как удар ножом из-за угла...
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
И как еще далеко до рассвета!

ЗАПОЙ ПОД НОВЫЙ ГОД

Человек идет пьяненький.

Странная ночь, все развезло.

Он вспоминает стихи и вслух как бы отвечает на них.

По-осеннему деревья налегке,
Керосиновые пятна на реке,
Фиолетовые пятна на воде,
Ты сказала мне тихонько: «Быть беде».
Я позабыл твое лицо,
Я пьян был к полдню,
Я подарил твое кольцо,
– Кому, не помню...
Я подымал тебя на смех,
И врал про что-то,
И сам смеялся больше всех,
И пил без счета.
Из шутовства и хвастовства

В то балаганье,
Я предал все твои слова
На поруганье,
Качалась пьяная матня
Вокруг прибойно,
И ты спросила у меня:
«Тебе не больно?»
Не поймешь – не то январь, не то апрель,
Не поймешь – не то метель, не то капель,
На реке не ледостав, не ледоход,
Старый год, а ты сказала – Новый Год
Их век выносит на-гора,
И – марш по свету,
Одно отличие – номера,
Другого – нету!
О, этот старый частокол –
Двадцатый опус,
Где каждый день, как протокол,
А ночь, как обыск.
Где все зазря и все не то,
И все непрочно,
Который час, и то никто
Не знает точно.
Лишь неизменен календарь
В приметах века –
Ночная улица. Фонарь. Канал. Аптека...
В этот вечер, не сумевший стать зимой,
Мы дороги не нашли к себе домой,
Я спросил тебя: «А может, все не зря?»
Ты ответила – старинным быть нельзя.

НОВОГОДНЯЯ ФАНТАСМАГОРИЯ

В новогодний бедлам, как в обрыв на крутом вираже,
Все еще только входят, а свечи погасли уже,
И лежит в сельдерее, убитый злодейским ножом,
Поросенок с бумажною розой, покойник-пижон.
А полковник-пижон, что того поросенка принес,
Открывает «боржом» и целует хозяйку взасос,
Он совсем разнуздался, подлец, он отбил от рук,
И следят за полковником три кандидата наук.

А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила,
И уже за столом, как положено, куча-мала –
Кто-то ест, кто-то пьет, кто-то ждет, что ему подмигнут,
И полковник нажрался, как маршал, за десять минут.
Над его головой произносят заздравную речь
И суют мне гитару, чтоб общество песней развлечь...
Ну помилуйте братцы: какие тут песни, пока
Не допили еще, не доели цыплят табака.
Вот полковник желает исполнить романс «Журавли»,
Но его кандидаты куда-то поспать увели,
И опять кто-то ест, кто-то пьет, кто-то плачет навзрыд,
Что за праздник без песни, – мне мрачный сосед говорит, –
Я хотел бы, товарищ, от имени всех попросить,
Не могли б вы, товарищ, нам что-нибудь изобразить. –
И тогда я улягусь на стол, на торжественный тот,
И бумажную розу засуну в оскаленный рот,
И под чей-то напутственный возглас, в дыму и в жаре,
Поплыву, потеку, потону в пороссячем желе...
Это будет смешно, это вызовет хохот до слез,
И хозяйка лизнет меня в лоб, как признательный пес,
А полковник, проспавшись, возьмется опять за свое,
И отрезав мне ногу, протянет хозяйке ее...
...А за окнами снег, а за окнами белый мороз,
Там бредет чья-то белая тень мимо белых берез,
Мимо белых берез, и по белой дороге, и прочь –
Прямо в белую ночь, в петроградскую Белую Ночь...
В ночь, когда по скрипучему снегу, в трескучий мороз,
Не пришел, а ушел, мы потом это поняли, Белый Христос,
И поземка, следы заметая, мела, и мела...
А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила,
Зазвонил телефон, и хозяйка махнула рукой, –
Подождите, не ешьте, оставьте кусочек, другой, –
И уже в телефон, отгоняя ладошкой дым, –
Приезжайте скорей, а не то мы его доедим! –
И опять все смеются, смеются, смеются до слез...
... А за спинами снег, а за окнами белый мороз,
Там бредет моя белая тень мимо белых берез...

ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ

Под утро, когда устанут
Влюбленность, и грусть, и зависть,
И гости опохмелятся
И выпьют воды со льдом,
Скажет хозяйка – хотите
Послушать старую запись? –
И мой глуховатый голос
Войдет в незнакомый дом.
И кубики льда в стакане
Звякнут легко и ломко,
И странный узор на скатерти
Начнет рисовать рука,
И будет бренчать гитара,
И будет крутиться пленка,
И в дальний путь к Абакану
Отправятся облака
И гость какой-нибудь скажет:
– От шуточек этих зябко,
И автор напрасно думает,
Что сам ему черт не брат!
– Ну, что вы, Иван Петрович, –
Ответит гостю хозяйка, –
Бояться автору нечего,
Он умер лет сто назад...

СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО

Когда собьет меня машина,
Сержант напишет протокол,
И представительный мужчина
Тот протокол положит в стол.
Другой мужчина – ниже чином,
Взяв у начальства протокол,
Прочтет его в молчаньи чинном...
Прочтет его в молчаньи чинном
И пододвинет дырокол!
И продырявив лист по краю,
Он скажет: «счастья в мире нет –
Покойник пел, а я играю...

Покойник пел, а я играю, –
Могли б составить с ним дуэт!»

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА

Врач сказал:
«Будь здоров! Паралич!»
Помирает Иван Ильич...
Ходят дети с внуками на цыпочках,
И хотя разлука не приспела,
Но уже месткомовские скрипочки
Принялись разучивать Шопена.
Врач сказал:
«Может, день, может, два,
Он и счас уже дышит едва».
Пахнет в доме горькими лекарствами,
Подгоревшим давешним обедом,
Пахнет в доме скорыми мытарствами
По различным загсам и собесам.
Врач сказал:
«Ай-ай-ай, вот-те раз!
А больной-то, братцы, помер у нас».
Был он председателем правления,
Но такая вещь жите-бытье,
Не напишешь просьбу о продлении,
Некому рассматривать ее.
Врач сказал:
«Извиняюсь привет!»
Ждал врача подгоревший обед.

БОЛЬНИЧНАЯ ЦЫГАНОЧКА

А начальник все, спьяну, про Сталина,
Все хватает баранку рукой,
А потом нас, конечно, доставили
Санитары в приемный покой.
Сняли брюки с меня и кожаночку,
Все мое покидали в мешок,
И прислали Марусю-хожалочку,

Чтоб дала мне живой порошок.
А я твердил, что я здоров,
А если ж, печки-лавочки,
То в этом лучшем из миров
Мне все давно до лампочки,
Мне все равно, мне все давно
До лампочки!
Вот лежу я на койке, как чайничек,
Злая смерть надо мною кружит,
А начальник мой, а начальник,
Он в отдельной палате лежит.
Ему нянечка шторку подвесила,
Создают персональный уют,
Водят к гаду еврея-профессора,
Передачи из дома дают!
А там икра, а там вино,
И сыр, и печки-лавочки!
А мне – больничное говно,
Хоть это и до лампочки,
Хоть все равно, мне все давно
До лампочки!
Я с обеда для сестрина мальчика
Граммов сто отолью киселю,
У меня ж ни кола, ни калачика,
Я с начальством харчи не делю!
Я возил его, падлу, на «чаечке»,
И к Маргошке возил, и в Фили,
Ой, вы добрые люди, начальники!
Соль и гордость родимой земли!
Не то он зав, не то он зам,
Не то он печки-лавочки,
А что мне зам!
Я сам с усам,
И мне чины до лампочки,
Мне все чины до ветчины
До лампочки!
Надеваю я утром пижамочку,
Выхожу покурить в туалет,
И встречаю Марусю-хожалочку, –
Сколько зим, говорю, сколько лет!
Доложи, говорю, обстановочку,

А она отвечает не в такт –
Твой начальничек дал упаковочку –
У него получился инфаркт! –
На всех больничных корпусах
И шум, и печки-лавочки,
А я стою – темно в глазах,
И как-то все до лампочки,
И как-то вдруг мне все вокруг
До лампочки...
Да, конечно, гражданка гражданочкой,
Но когда воевали, братва,
Мы ж с ним вместе под этой кожаночкой
Ночевали не раз и не два,
И тянули спиртягу из чайника,
Под обстрел загорали в пути...
Нет, ребята, такого начальника
Мне, наверно, уже не найти!
Не слезы это, а капель,
И все, и печки-лавочки,
И мне теперь, мне все теперь
Фактически до лампочки,
Мне все теперь, мне все теперь
До лампочки!

ПРАВО НА ОТДЫХ

Первача я взял ноль-восемь, взял халвы,
Пару «рижского» и керченскую сельдь,
И отправился я в Белые Столбы
На братана да на психов поглядеть.
Ах, у психов жизнь, так бы жил любой:
Хочешь – спать ложись, а хочешь – песни пой!
Предоставлено им вроде литера,
Кому от Сталина, кому от Гитлера!
А братан уже встречает в проходной,
Он меня за опоздание корит,
Говорит – давай скорей по одной,
Тихий час сейчас у психов, – говорит.
Шизофреники – вяжут веники,
А параноики – рисуют нолики,
А которые просто нервные,

Те спокойным сном спят, наверное.
А как приняли по первой первача,
Тут братана прямо бросило в тоску,
Говорит, что он зарежет главврача,
Что он, сука, не пустил его в Москву!
А ему ж в Москву не за песнями,
Ему выправить надо пенсию,
У него в Москве есть законная,
И еще одна есть – знакомая.
Мы пивком переложили, съели сельдь,
Закусили это дело косхалвой,
Тут братан и говорит мне: «Сень, а Сень,
Ты побудь тут за меня денек-другой!
И по выходке, и по роже мы
Завсегда с тобой были схожими,
Тебе ж нет в Москве вдоха-продоха,
Поживи здесь, как в доме отдыха».
Тут братан снимает тапки и халат,
Он мне волосы легонько ворошит,
А халат на мне – ну, прямо в аккурат,
Прямо, вроде на меня халат пошит!
А братан – в пиджак, да и к поезду,
А я булавочкой – деньги к поясу,
И иду себе на виду у всех,
А и вправду мне – отдохнуть не грех!
Тишина на белом свете, тишина,
Я иду и размышляю, не спеша, –
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да окончить ВПШ!... [\[20\]](#)
Ах, у психов жизнь, так бы жил любой:
Хочешь – спать ложись, а хочешь – песни пой!
Предоставлено нам вроде литера,
Кому от Сталина, кому от Гитлера!..

ПРАВО НА ОТДЫХ

Первача я взял ноль-восемь, взял халвы,
Пару «рижского» и керченскую сельдь,
И отправился я в Белые Столбы
На братана да на психов поглядеть.
Ах, у психов жизнь, так бы жил любой:

Хочешь – спать ложись, а хочешь – песни пой!
Предоставлено им вроде литеры,
Кому от Сталина, кому от Гитлера!
А братан уже встречает в проходной,
Он меня за опоздание корит,
Говорит – давай скорей по одной,
Тихий час сейчас у психов, – говорит.
Шизофреники – вяжут веники,
А параноики – рисуют нолики,
А которые просто нервные,
Те спокойным сном спят, наверное.
А как приняли по первой первача,
Тут братана прямо бросило в тоску,
Говорит, что он зарежет главврача,
Что он, сука, не пустил его в Москву!
А ему ж в Москву не за песнями,
Ему выправить надо пенсию,
У него в Москве есть законная,
И еще одна есть – знакомая.
Мы пивком переложили, съели сельдь,
Закусили это дело косхалвой,
Тут братан и говорит мне: «Сень, а Сень,
Ты побудь тут за меня денек-другой!
И по выходке, и по роже мы
Завсегда с тобой были схожими,
Тебе ж нет в Москве вздоха-продыха,
Поживи здесь, как в доме отдыха».
Тут братан снимает тапки и халат,
Он мне волосы легонько ворошит,
А халат на мне – ну, прямо в аккурат,
Прямо, вроде на меня халат пошит!
А братан – в пиджак, да и к поезду,
А я булабочкой – деньги к поясу,
И иду себе на виду у всех,
А и вправду мне – отдохнуть не грех!
Тишина на белом свете, тишина,
Я иду и размышляю, не спеша, –
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да окончить ВПШ!... [\[20\]](#)
Ах, у психов жизнь, так бы жил любой:
Хочешь – спать ложись, а хочешь – песни пой!

Предоставлено нам вроде литеры,
Кому от Сталина, кому от Гитлера!..

РАССКАЗ, КОТОРЫЙ Я УСЛЫШАЛ В ПРИВОКЗАЛЬНОМ ШАЛМАНЕ

Нам сосиски и горчицу –
Остальное при себе,
В жизни может все случиться
Может «А», а может «Б».
Можно жизнь прожить в покое,
Можно быть всегда в пути...
Но такое, но такое! –
Это ж Господи, прости!
Дядя Леша, бог рыбачий,
Выпей, скушай бутерброд,
Помяни мои удачи
В тот апрель о прошлый год,
В том апреле, как в купели,
Голубели невода,
А потом – отголубели,
Задубели в холода!
Но когда из той купели
Мы тянули невода,
Так в апреле преуспели,
Как, порою, за года!
Что нам Репина палитра,
Что нам Пушкина стихи:
Мы на брата – по два литра,
По три порции ухи!
И айда за той, фартовой,
Закусивши удила,
За той самой, за которой
Три деревни, два села!
Что ни вечер – «Кукарача»!
Что ни утро, то аврал!
Но случилась незадача –
Я документ потерял!
И пошел я к Львовой Клавке:

– Будем, Клавка, выручать,
Оформляй мне, Клавка, справки,
Шлепай круглую печать!
Значит, имя, год рожденья,
Званье, член КПСС.
Ну, а дальше – наважденье,
Вроде вдруг попутал бес.
В состоянии помятом
Говорю для шутки ей, –
– Ты, давай, мол, в пункте пятом
Напиши, что я еврей!
Посмеялись и забыли,
Крутим дальше колесо,
Нам все это, вроде пыли,
Но совсем не вроде пыли
Дело это для ОСО!
Вот прошел законный отпуск,
Начинается мотня.
Первым делом, сразу «допуск»
Отбирают у меня,
И зовет меня Особый,
Начинает разговор, –
– Значит, вот какой особой,
Прямо скажем, хитрожопой!
Оказался ты, Егор!
Значит все, мы кровь на рыле,
Топай к светлому концу!
Ты же будешь в Израиле
Жрать, подлец, свою мацу!
Мы стоим за дело мира,
Мы готовимся к войне!
Ты же хочешь, как Шапиро,
Прохлаждаться в стороне!
Вот зачем ты, вроде вора,
Что желает – вон из пут,
Званье русского майора
Променял на «пятый пункт».
Я ему, с тоской в желудке,
Отвечаю, еле жив, –
– Это ж я за ради шутки,
На хрена мне Тель-Авив!

Как он гаркнет: – Я не лапоть!
Поищи-ка дурачков!
Ты же явно хочешь драпать!
Это ж видно без очков!
Если ж кто того не видит,
Растолкуем в час-другой,
Нет, любезный, так не выйдет,
Так не будет, дорогой!
Мы тебя – не то что взгреем,
Мы тебя сотрем в утиль!
Нет, не зря ты стал евреем!
А затем ты стал евреем,
Чтобы смыться в Израиль!
И пошло тут, братцы-друзи,
Хоть ложись и в голос вой!..
Я теперь живу в Калуге,
Беспартийный, рядовой!
Мне теперь одна дорога,
Мне другого нет пути:
– Где тут, братцы, синагога?!
Подскажите, как пройти!

ЗА СЕМЬЮ ЗАБОРАМИ

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами – вожди,
Там трава несмятая,
Дышится легко,
Там конфеты мятные
«Птичье молоко».
За семью заборами,
За семью запорами,
Там конфеты мятные
«Птичье молоко»!
Там и фауна, и флора,
Там и галки, и грачи,
Там глядят из-за забора
На прохожих стукачи,
Ходят вдоль да около,

Кверху воротник...
А сталинские соколы
Кушают шашлык!
За семью заборами,
За семью запорами,
Сталинские соколы
Кушают шашлык!
А ночами, а ночами
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про блядей!
И сопя уставится,
На экран мурло...
Очень ему нравится
Мерилин Монро!
За семью заборами,
За семью запорами,
Очень ему нравится
Мерилин Монро!
Мы устали с непривычки,
Мы сказали: – Боже мой!
Добрели до электрички
И поехали домой.
А в пути по радио
Целый час подряд,
Нам про демократию
Делали доклад.
А за семью заборами,
За семью запорами,
Там доклад не слушают –
Там шашлык едят!

БАЛЛАДА О ЧИСТЫХ РУКАХ

Развеем по ветру подмоченный порошок,
И мы привыкаем, как деды, точь в точь,
Гонять вечера в незатейливых спорах,
Побасенки слушать и воду толочь.
Когда-то шумели, теперь поутихли,
Под старость любезней – покой и почет,
А то, что опять Ярославна в Путивле

Горюет и плачет, так это не в счет.
Уж мы то рукав не омочим в Каяле,
Не сунем в ладонь арестантскую хлеб,
Безгрешный холуй, запасайся камнями,
Разучивай загодя, праведный гнев!
Недаром из школьной науки
Всего нам милей слова –
Я умываю руки, ты умываешь руки, он умывает руки –
И хоть не расти трава!
Не высшая математика,
А просто, как дважды два!
Так здравствуй же вечно, премудрость холопья,
Премудрость мычать, и жевать и внимать,
И помнить о том, что народные копы
Народ никому не позволит ломать.
Над кругом гончарным поют о тачанке
Усердное время, бессмертный гончар.
А танки идут по Вацлавской брусчатке
И наш бронепоезд стоит у Градчан!
А песня крепчает – «взвивайтесь кострами»!
И пепел с золою, куда ни ступи.
Взвиваются ночи кострами в Остраве,
В мордовских лесах и в казахской степи.
На севере и на юге –
Над ржавой землею дым,
А я умываю руки!
А ты умываешь руки!
А он умывает руки,
Спасая свой жалкий Рим!
И нечего притворяться – мы ведаем, что творим!

БАЛЛАДА О ВЕЧНОМ ОГНЕ

Посвящается Льву Копелеву

...Мне рассказывали, что любимой мелодией лагерного начальства в Освенциме, мелодией, под которую отправляли на смерть очередную партию заключенных, была песенка «Тум-балалайка», которую обычно исполнял оркестр заключенных.

...«Неизвестный», увенчанный славою брэнной!
Удалец-молодец или горе-провидец?!

И склоняют колени под гром барабанный
Перед этой загадкою Главы Правительства!
Над немymi могилами – воплем! – надгробья...
Но порою надгробья – не суть, а подобья,
Но порой вы не боль, а тщеславье храните –
Золоченные буквы на черном граните!..
Все ли про то спето?
Все ли навек – с болью?
Слышишь, труба в гетто
Мертвых зовет к бою!
Пой же, труба, пой же,
Пой о моей Польше,
Пой о моей маме –
Там, в выгребной яме!..
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-балалайка, шпил балалайка,
Рвется и плачет сердце мое!
А купцы приезжают в Познань,
Покупают меха и мыло...
Подождите, пока не поздно,
Не забудьте, как это было!
Как нас черным огнем косило
В той последней слепой атаке...
«Маки, маки на Монте-Коссино», [\[21\]](#)
Как мы падали в эти маки,
А на ярмарке – все красиво,
И шуршат то рубли, то марки...
«Маки, маки на Монте-Коссино»,
Ах, как вы почернели, маки!
Но зовет труба в рукопашный,
И приказывает – воюйте!
Пой же, пой нам о самой страшной,
Самой твердой в мире валюте!..
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-балалайка, шпил балалайка,
Рвется и плачет сердце мое!
Помнишь, как шел ошалелый паяц
Перед шеренгой на Аппельплац,
Тум-балалайка, шпил балалайка,

В газовой камере – мертвые в пляс...
А вот еще: В мазурочке
То шагом, то ползком,
Отправились два «урочка»!
В поход за «языком»!
В мазурочке, в мазурочке
Нафабрены усы,
Затикали в подсумочке
Трофейные часы!
Мы пьем, гуляем в Познани
Три ночи и три дня...
Ушел он неопознанный,
Засек патруль меня!
Ой, зори бирюзовые,
Закаты – анилин!
Пошли мои кирзовые
На город на Берлин!
Грома гремят басовые
На линии огня,
Идут мои кирзовые,
Да только без меня!..
Там у речной излучины
Зеленая кровать,
Где спит солдат обученный,
Обстрелянный, обученный
Стрелять и убивать!
Среди пути прохожего –
Последний мой постой,
Лишь нету, как положено,
Дощечки со звездой.
Ты не печалься, мама родная,
Ты спи спокойно, почивай,
Прости-прощай разведка ротная,
Товарищ Сталин, прощавай!
Ты не кручинься, мама родная,
Как говорят, судьба слепа,
И может статься, что народная
Не зарастет ко мне тропа...
А еще: Где бродили по зоне КаЭРы^[22],
Где под снегом искали гнилые корни,
Перед этой землей – никакие Премьеры,

Подтянувши штаны, не преклонят колени!
Над сибирской Окою, над Камой, над Обью,
Ни венков, ни знамен не положат к надгробью!
Лишь, как вечный огонь, как нетленная слава –
Штабеля! Штабеля!
Штабеля лесосплава!
Позже, друзья, позже,
Кончим навек с болью,
Пой же, труба, пой же!
Пой, и зови к бою!
Медною всей плотью
Пой про мою Потьму!
Пой о моем брате –
Там в Ледяной Пади!..
Ах, как зовет эта горькая медь
Встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь!
Тум – балалайка, шпил балалайка,
Песня, с которой шли мы на смерть!
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-балалайка, шпил балалайка,
Рвется и плачет сердце мое!
31 декабря 1968, г. Дубна

БАЛЛАДА О ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

«...Призрак ходит по Европе, призрак коммунизма...»
Я научность марксистскую пестовал,
Даже точками в строчке не брезговал.
Запятым по пятам, а не дуриком,
Изучал «Капитал» с «Анти-Дюрингом».
Не стеснясь мужским своим признаком,
Наряжался на праздники призраком,
И повсюду, где устно, где письменно,
Утверждал я, что все это истинно.
От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих,
И пусть я псих, а кто не псих? А вы не псих?
Но недавно случилась история –

Я купил радиолу «Эстония»,
И в свободный часок на полчасика
Я прилег позабавиться классикой.
Ну, гремела та самая опера,
Где Кармен свово бросила опера,
А когда откричал Эскамилио,
Вдруг свое я услышал фамилие.
Ну, черт-те что, ну, черт-те что, ну, черт-те что!
Кому смешно, мне не смешно. А вам смешно?
Гражданин, мол, такой-то и далее –
Померла у вас тетка в Фингалии,
И по делу той тети Калерии
Ожидают вас в Инюрколлегии.
Ох и вскинулся я прямо на дыбы,
Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!
Больно тема какая-то склизкая,
Не марксистская, ох, не марксистская!
Ну, прямо, срам, ну, прямо, срам, ну, стыд и срам!
А я-то сам почти что зам! А вы не зам?
Ну, промаялся ночь, как в холере, я,
Подвела меня, падла, Калерия!
Ну, жена тоже плачет, печалится –
Культ – не культ, а чего не случается?!
Ну, бельишко в портфель, щетку, мыльницу,
Если сразу возьмут, чтоб не мыкаться,
Ну, являюсь, дрожу аж по потрохи,
А они меня чуть что не под руки.
И смех и шум, и смех и шум, и смех и шум!
А я стою – и ни бум-бум. А вы – бум-бум?
Первым делом у нас – совещание,
Зачитали мне вслух завещание –
Мол, такая-то, имя и отчество,
В трезвой памяти, все честью по чести,
Завещаю, мол, землю и фабрику
Не супругу, засранцу и бабнику,
А родной мой племянник Володечка
Пусть владеет всем тем на здоровьечко!
Вот это да, вот это да, вот это да!
Выходит так, что мне туда! А вам куда?
Ну, являюсь на службу я в пятницу,
Посылаю начальство я в задницу,

Мол, привет, по добру, по спокойненьку,
Ваши сто – мне, как насморк – покойнику!
Пью субботу я, пью воскресенье,
Чуть посплю – и опять в окосение.
Пью за родину, и за не родину,
И за вечную память за тетину,
Ну, пью и пью, а после счет, а после счет,
А мне б не счет, а мне б еще?! И вам еще.
В общем, я за усопшую тетеньку
Пропил с книжки последнюю сотенку
А как встал, так друзья мои, бражники,
Прямо все, как один, за бумажники:
– Дорогой ты наш, бархатный, саржевый,
Ты не брезговай, Вова, одалживай!
Мол, сочтемся когда-нибудь дружбою,
Мол, пришлешь нам, что будет ненужное, –
Ну, если так, то гран-мерси, то гран-мерси,
А я за это вам – джерси. И вам – джерси.
Наодалживал, в общем, до тыщи я,
Я ж отдам, слава Богу, не нищий я,
А уж с тыщи-то рад расстараться я –
И пошла ходуном ресторация....
С контрабаса на галстук – басовую!
Не «столичную» пьем, а «особую».
И какие-то две с перманентиком
Все назвать норовят меня Эдиком.
Гуляем день, гуляем, ночь, и снова ночь,
А я не прочь, и вы не прочь, и все не прочь.
С воскресенья и до воскресения
Шло у нас вот такое веселие,
А очухался чуть к понедельнику,
Сел глядеть передачу по телику.
Сообщает мне дикторша новости
Про успехи в космической области,
А потом: Передаем сообщения из-за границы.
Революция в Фингалии!

Первый декрет народной власти о национализации земель, фабрик, заводов
и всех прочих промышленных предприятий.

Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ
Фингалии со славной победой!

Я гляжу на экран, как на рвотное,
То есть, как это так, все народное?!

Это ж наше, кричу, с тетей Калею,
Я ж за этим собрался в Фингалию!
Негодяи, кричу, лаботрясы вы!
Это все, я кричу, штучки марксовы!
Ох, нет на свете печальнее повести,
Чем об этой прибавочной стоимости!
А я ж ее – от сих до сих, от сих до сих!
И вот теперь я полный псих! А кто не псих?!

КОРОЛЕВА МАТЕРИКА

(Лагерная баллада, написанная в бреду)

Когда затихает к утру пурга,
И тайга сопит, как сурок,
И еще до подъема часа полтора,
А это немалый срок.
И спят зэка, как в последний раз –
Натянул бушлат – и пока,
И вохровцы спят, как в последний раз –
Научились спать у зэка.
И начальнички спят, брови спят,
И лысины, и усы,
И спят сапоги, и собаки спят,
Уткнувши лапы в носы.
И тачки спят, и лопаты спят,
И сосны пятятся в тень,
И еще не пора, не пора, не пора
Начинать им доблестный день.
И один лишь «попка» на вышке торчит,
Но ему не до спящих масс,
Он занят любовью – по младости лет
Свистит и дробит на Марс.
И вот в этот-то час, как глухая дрожь,
Проплывает во мгле тоска,
И тогда просыпается Белая Вошь,
Повелительница зэка,
А мы ее звали все –
Королева Материка!

Откуда всевластье ее взялось,
Пойди, расспроси иных,
Но пришла она первой в эти края,
И последней оставит их...
Когда сложат из тачек и нар костер,
И волчий забыв раздор,
Станут рядом вохровцы и зэка,
И напишут в тот костер.
Сперва за себя, а потом за тех,
Кто пьет теперь Божий морс,
Кого шлепнули влет, кто ушел под лед,
Кто в дохлую землю вмерз,
Кого Колыма от аза до аза
Вгоняла в горячий пот.
О, как они ссали б, закрыв глаза,
Как горлица воду пьет!
А потом пропоет неслышно труба,
И расступится рвань и голь,
И Ее Величество Белая Вошь
Подойдет и войдет в огонь,
И взметнутся в небо тысячи искр,
Но не просто, не как-нибудь –
Навсегда крестом над Млечным Путем
Протянется Вшивый Путь!
Говорят, что когда-то, в тридцать седьмом,
В том самом лихом году,
Когда покойников в штабеля
Укладывали на льду,
Когда побрякивала тайга
От доблестного труда,
В тот год к Королеве пришла любовь,
Однажды и навсегда.
Он сам напросился служить в конвой,
Он сам пожелал в Дальлаг,
И ему с Королевой крутить любовь,
Ну, просто нельзя никак,
Он в нагрудном мешочке носил чеснок,
И деньги, и партбилет,
А она – Королева, а ей плевать –
Хочет он, или нет!
И когда его ночью столкнули в клеть,

Зачлись подлецу дела,
Она до утра на рыжем снегу
Слезы над ним лила,
А утром пришли, чтоб его зарыть,
Смотрят, а тела нет,
И куда он исчез – не узнал никто,
И это – Ее секрет!
А еще, говорят, что какой-то хмырь,
Начальничек из Москвы,
Решил объявить Королеве войну,
Пошел, так сказать, «на вы».
Он гонял на прожарку и в зоне и за,
Он вопил и орал: «Даешь!»
А был бы начальничек чуть поумней,
Он пошел бы с ней на дележ, –
Чтобы пайку им пополам рубить,
И в трубу пополам трубить,
Но начальник умным не может быть,
Потому что – не может быть.
Он надменно верил, что он не он,
А еще миллион и он,
И каждое слово его – миллион,
И каждый шаг миллион.
Но когда ты один, и ночь за окном
От черной пурги хмельна,
Тогда ты один, и тогда беги!
Ибо дело твое – хана!
Тогда тебя не спасет миллион,
Не отобьет конвой!
И всю ночь, говорят над зоною плыл
Тоскливый и страшный вой...
Его нашли в одном сапоге,
От страха – рот до ушей,
И на вздувшейся шее тугой петлей
Удавка из белых вшей...
И никто с тех пор не вопит «Даешь!»
И смеется исподтишка Ее Величество Белая Вошь,
Повелительница зэка.
Вот тогда-то Ее и прозвали все – Королева Материка.
Когда-нибудь все, кто придет назад,
И кто не придет назад,

Мы в честь Ее устроим парад,
И это будет парад!
По всей Вселенной (валяй, круши!)
Свой доблестный славя труд,
Ее Величества Белой Вши
Подданные пройдут,
Ее Величества Белой Вши
Данники всех времен.
А это сумеет любой дурак –
По заду втянуть ремнем,
А это сумеет любой дурак –
Палить в безоружных всласть!
Но мы-то знаем, какая власть
Была и взаправду власть!
И пускай нам другие дают срока,
Ты нам вечный покой даешь,
Ты, Повелительница зэка,
Ваше Величество Белая Вошь!
Наше Величество Белая Вошь!
Королева Материка!

БАЛЛАДА О СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Посвящается памяти Даниила Хармса
Егор Петрович Мальцев
Хворает, и всерьез:
Уходит жизнь из пальцев,
Уходит из желез,
Из прочих членов тоже
Уходит жизнь его,
И вскорости, похоже,
Не будет ничего.
Когда нагрянет свора
Савеловских родных,
То что же от Егора
Останется для них?
Останется пальтишко,
Подушка, чтобы спать,
И книжка, и сберкнижка
На девять двадцать пять.
И таз, и две кастрюли,

И рваный подписной,
Просроченный в июле
Единый проездной.
И все. И нет Егора!
Был человек, и нет!
И мы об этом скоро
Узнаем из газет.
Пьют газировку дети
И пончики едят,
Ему ж при диабете –
Все это чистый яд!
Вот спит Егор в постели,
Почти что невесом,
И дышит еле-еле,
И смотрит дивный сон –
В большом красивом зале,
Резону вопреки,
Лежит Егор, а сзади
Знамена и венки,
И алым светом залит
Большой его портрет,
Но сам Егор не знает,
Живой он или нет.
Он смаргивает мошек,
Как смаргивал живой,
Но он вращать не может
При этом головой.
И дух по залу спертый,
Как в общей душевой,
И он скорее мертвый,
Чем все-таки живой.
Но хором над Егором –
Краснознаменный хор,
Краснознаменным хором
Поет – вставай Егор!
Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,
Давай Егор Петрович,
Не подводи страну!
Центральная газета
Оповестила свет,

Что больше диабета
В стране советской нет!
Пойми, что с этим, кореш,
Нельзя озорничать,
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать.
Давай, вставай, Петрович,
Во всю свою длину.
Давай, вставай, Петрович,
Не подводи страну.
И сел товарищ Мальцев,
Услышав эту речь,
И жизнь его из пальцев
Не стала больше течь.
Егор трусы стирает,
Он койку застелил,
И тает, тает, тает
В крови холестерин...
По площади по Трубной
Идет он, милый друг,
И все ему доступно,
Что видит он вокруг!
Доступно кушать сласти
И газировку пить,
Лишь при советской власти
Такое может быть!

БАЛЛАДА О СТАРИКАХ И СТАРУХАХ

с которыми я вместе жил и лечился в санатории областного совета профсоюзов в 110 км. от Москвы

Все завидовали мне: «Эко денег!»
Был загадкой я для старцев и стариц,
Говорили про меня: «Академик!»
Говорили: «Генерал-иностранец!»
О, бессониц и снотворных отрав!
Может статься, это вы виноваты,
Что привиделась мне вздорная слава
В полумраке санаторной палаты?
А недуг со мной хитрил поминутно:
То терзал, то отпускал на поруки.

И все было мне так странно и трудно,
А труднее всего – были звуки.
Доминошники стучали в запале,
Привалившись к покарябанной пальме,
Старцы в чесанках с галошами спали
Прямо в холле, как в общественной спальне.
Я неслышно проходил: «Англичанин!»
Я козла не забивал: «Академик!»
И звонки мои в Москву обличали:
«Эко денег у него, эко денег!»
И казалось мне, что вздор этот вечен,
Неподвижен, словно солнце в зените...
И когда я говорил: «Добрый вечер!»,
Отвечали старики: «Извините».
И кивали, как глухие глухому,
Улыбались не губами, а краем:
«Мы, мол, вовсе не хотим по-плохому,
Но как надо, извините, не знаем...»
Я твердил им в их мохнатые уши,
В перекурах за сортирную дверь:
«Я такой же, как и вы, только хуже!»
И поддакивали старцы, не веря.
И в кино я не ходил: «Ясно немец!»
И на танцах не бывал: «Академик!»
И в палатке я купил чай и перец:
«Эко денег у него, эко денег!»
Ну, и ладно, и не надо о славе...
Смерть подарит нам бубенчики славы!
А живем мы в этом мире послами
Не имеющей названья державы...

БАЛЛАДА О ТОМ, КАК ОДНА ПРИНЦЕССА РАЗ В ДВА МЕСЯЦА ПРИХОДИЛА УЖИНАТЬ В РЕСТОРАН «ДИНАМО»

«... И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна...»
Кивал с эстрады ей трубач,

Сипел трубой, как в насморке,
Он и прозвал ее, трепач,
Принцессой с Нижней Масловки,
Он подтянул, трепач, штаны,
И выдал румбу с перчиком,
А ей, принцессе, хоть бы хны,
Едва качнула плечиком –
Мол, только пальцем поманю,
Слетятся сотни соколов,
И села, и прочла меню,
И выбрала бефстроганов.
И все бухие пролетарии,
Все тунеядцы и жулье,
Как на комету в планетарии,
Глядели, суки, на нее...
Бабье вокруг, издавши стон,
Пошло махать платочками,
Она ж, как леди Гамильтон,
Пила ситро глоточками.
Бабье вокруг, – сплошной собес! –
Воздев, как пики, вилочки,
Рубают водку под супец,
Шампанское под килечки.
И, сталь коронок заголя,
Расправой бредят скорою,
Ах, эту дочку короля
Шарахнуть бы «Авророю»!
И все бухие пролетарии,
Смирив идейные сердца,
Готовы к праведной баталии
И к штурму Зимнего дворца!
Душнеет в зале, как в метро,
От пергидрольных локонов,
Принцесса выпила ситро
И съела свой бефстроганов.
И вновь таращится бабье
На стать ее картинную,
На узком пальце у нее
Кольцо за два с полтиною.
А время подлое течет,
И зал пройдя, как пасеку,

«Шестерка» ей приносит счет,
И все, и крышка празднику!
А между тем, пила и кушала,
Вложив всю душу в сей процесс,
Благополучнейшая шушара,
Не признающая принцесс.
...Держись, держись, держись, держись,
Крепись и чисти перышки,
Такая жизнь – плохая жизнь –
У современной Золушки!
Не ждет на улице ее
С каретой фея крестная...
Жует бабье, сопит бабье,
Придумывает грозное!
А ей – не царство на веку –
Посулы да побасенки,
А там – вались по холодку!
«Принцесса» с Нижней Масловки!
И вот она идет меж столиков
В своем костюмчике джерси,
Ах, ей далеко до Сокольников,
Ах, ей не хватит на такси!

ПОЭМА О СТАЛИНЕ

«Вперед! Исус Христос»

Глава 1: РОЖДЕСТВО

Все шло по плану, но немножко наспех.
Спускался вечер, спал младенец в яслях,
Статисты робко заняли места,
И Мать Божья наблюдала немо,
Как в каменное небо Вифлеема
Всходила Благовещенья звезда.
Но тут в вертеп ворвались два подпaska
И крикнули, что вышла неувязка,
Что праздник отменяется, увы,
Что римляне не понимают шуток.
И загремели на пятнадцать суток

Поддавшие не вовремя волхвы.
Стало тихо, тихо, тихо,
В крике замерли уста,
Зашипела, как шутиха,
И погасла та звезда.
Стало зябко, зябко, зябко,
И в предчувствии конца
Закудахтала козявка,
Волк заблеял, как овца.
Все завыли, захрипели,
Но не внемля той возне
Спал младенец в колыбели
И причмокивал во сне.
Уже светало, розовело небо,
Но тут раздались гулко у вертепа
Намеренно тяжелые шаги,
И мать Божья замерла в тревоге,
Когда открылась дверь и на пороге
Кавказские явились сапоги.
И разом потерявшие значение
Столетия, лихолетья и мгновенья
Сомкнулись в безначальное кольцо,
А он вошел и поклонился еле,
И обратил неспешно к колыбели
Забрызганное оспою лицо.
«Значит, вот он – этот самый
Жалкий пасынок земной,
Что и кровью, и осанной
Потягается со мной...
Неужели, неужели
Столько лет и столько дней
Ты, сопящий в колыбели,
Будешь мукою моей?!
И меня с тобою, пешка,
Время бросит на весы?»
И недобрая усмешка
Чуть приподняла усы.
А три волхва томились в карантине.
Их в карантине быстро укротили,
Лупили и под вздох и по челу,
И римский опер, жажда награды,

Им говорил: «Сперва колитесь, гады!
А после разберемся – что к чему».
И понимая, чем грозит опала,
Пошли волхвы молоть, что ни попало,
Припоминали даты, имена,
И полетели головы.
И это Была вполне весомая примета,
Что новые настали времена.

Глава 2: КЛЯТВА ВОЖДЯ

Потные, мордастые евреи,
Шайка проходимцев и ворья,
Всеякие Иоанны и Матфеи,
Наплетут с три короба вранья,
Сколько их присыплют раны солью,
Лишь бы им взобраться на Синай.
Ладно, ладно, я не прекословлю, –
Ты был первый,
Ты и начинай,
Встань – и в путь по городам и весям,
Чудеса и мудрости твори.
Отчего ж Ты, Господи, невесел?
Где они, соратники Твои?
Бражничали, ели, гостевали,
А пришла беда – и след простыл,
Нет, не зря Ты ночью в Гефсимани
Струсил и пощады запросил.
Где Твоих приспешников орава
В смертный Твой, в последний час земной?
И смеется над тобой Варрава –
Он бы посмеялся *надомной*!
Был Ты просто-напросто предтечей,
Не творцом, а жертвою стихий,
Ты не Божий сын, а человеческий,
Если смог воскликнуть: «Не убий!»
Душ ловец, Ты вышел на рассвете
С бедной сетью из расхожих слов,
На исходе двух тысячелетий
Покажи, Богат ли Твой улов?
Слаб душою и умом не шибок,

Верил Ты и Богу и царю,
Я не повторю Твоих ошибок,
Ни одной из них не повторю!
В мире не найдется святотатца,
Чтобы поднял *наменя* копье,
Если ж я умру, – что может случиться, –
Вечным будет царствие мое!»

лава 3: ПОДМОСКОВНАЯ НОЧЬ

*Он один, а ему неможется,
И уходит окно во мглу,
Он считает шаги, и множится
Счет шагов от угла к углу.
От угла до угла потерянно
Он шагает, как заводной,
Сто постелей ему постелено,
Не уснуть ему ни в одной.
По паркетному полу голому –
Шаг и отдых, и снова шаг,
Ломит голову, ломит голову,
И противно гудит в ушах,
Будто кто-то струну басовую
Тронул пальцем и канул прочь,
Что же делать ему в бессонную,
В одинокую эту ночь?
Вином упиться? Позвать врача?
Но врач – убийца, вино – моча...
Вокруг потемки, спят давно
Друзья – подонки, друзья – говно
На целом свете лишь сон и смех,
А он в ответе один за всех!
И, как будто стирая оспины,
Вытирает он пот со лба,
Почему, почему, о Господи,
Так жестока к нему судьба?
То предательством, то потерю
Оглушают всю жизнь его.
«Что стоишь ты там, за портьерою?
Ты не бойся меня, Серго!
Эту комнату неказистую*

Пусть твое озарит лицо,
Ты напой мне, Серго, грузинскую,
Ту, любимую мной, кацо,
Ту, что деды певали исстари,
Отправляясь в последний путь,
Спой, Серго, и забудь о выстреле,
Хоть на десять минут забудь!
Но полно, полно, молчи, не пой!
Ты предал подло – и пес с тобой!
И пес со всеми – повзводно в плен!
И все их семьи до ста колен!»
Повсюду злоба, везде враги,
Ледком озноба – шаги, шаги...
Над столицами поседевшими
Ночь и темень, хоть глаз коли,
Президенты спят с президентшами,
Спят министры и короли.
Мир, во славу гремевший маршами,
Спит в снегу с головы до пят,
Спят министры его и маршалы...
Он не знал, что они не спят,
Что притихшие, сводки утренней
В страхе ждут и с надеждой ждут,
А ему все хуже, все муторней,
Сапоги почему-то жмут...
Не приказанный, не положенный
За окном колокольный звон.
И, упав на колени: «Боже мой!» –
Произносит бессвязно он, –
Молю, Всевышний,
Тебя, Творца,
На помощь вышли скорей гонца!
О, дай мне, дай же – не кровь, вино...
Забыл, как дальше...
Но все равно,
Не ставь отточий,
Конца пути,
Прости мне, Отче,
Спаси... прости...»

Глава 4: НОЧНОЙ РАЗГОВОР В ВАГОНЕ-РЕСТОРАНЕ

Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...
Дай-ка, братец, мне трески
И водочки немного.
Бассан-бассан-бассана,
Бассаната-бассаната...
Что с вином, что без вина –
Мне на сердце косовато.
Я седой не по годам,
И с ногою высохшей,
Ты слышал про Магадан?!
Не слышал?! Так выслушай,
А случилось дело так:
Как-то ночью странною
Заявился к нам в барак
«Кум» со всей охраною,
Я подумал, что конец,
Распрощался матерно...
Малосольный огурец
Кум жевал внимательно.
Скажет слово и поест,
Морда вся в апатии,
«Был, – сказал он, – главный съезд
Славной нашей партии.
Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения».
Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою...»
Полный, братцы, ататуй!
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять на станции.
...Ты представь – метет метель,
Темень, стужа адская,

А на нем одна шинель
Грубая, солдатская,
И стоит он напролом,
И летит, как конница,
Я сапог его кайлом,
А сапог не колется,
Помню, глуп я был и мал,
Слышал от родителя,
Как родитель мой ломал
Храм Христа Спасителя.
Бассан-бассан-бассана,
Черт гуляет с опером,
Храм – и мне бы ни – хрена,
Опиум, как опиум,
А это ж Гений всех времен,
Лучший друг навеки!
Все стоим ревмя ревом,
И вохровцы, и зэки,
Я кайлом по сапогу
Бью, как неприкаянный,
И внезапно сквозь пургу
Слышу голос каменный:
«Был я вождь вам и отец,
Сколько мук намелено!
Что ж ты делаешь, подлец?!
Брось кайло немедленно!»
Но тут шарахнули запал,
Применили санкции, –
Я упал, и Он упал,
Завалил полстанции...
Ну, скостили нам срока,
Приписали в органы,
Я живой еще пока,
Но, как видишь дерганый...
Бассан-бассан-бассана,
Бассаната-бассаната!
Лезут в поезд из окна
Бесенята, бесенята...
Отвяжитесь, мертвяки!
К черту, ради Бога...
Вечер, поезд, огоньки,

Глава 5: ГЛАВА, НАПИСАННАЯ В СИЛЬНОМ ПОДПИТИИ И ЯВЛЯЮЩАЯСЯ АВТОРСКИМ ОТСТУПЛЕНИЕМ

То-то радости пустомелям,
Темноты своей не стыжусь,
Не могу я быть Птолмеем,
Даже в Энгельсы не гожусь.
Но от вечного бегства в мыле,
Неустройством земным томим,
Вижу – что-то неладно в мире,
Хорошо бы заняться им,
Только век меня держит цепко,
С ходу гасит любой порыв,
И от горестей нет рецепта,
Все, что были, – сданы в архив.
И все-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дураком, паяцем,
И ночью и днем твержу об одном:
Не надо, люди бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!»
И рассыпавшись мелким бесом,
И поклявшись вам всем в любви,
Он пройдет по земле железом
И затопит ее в крови.
И наврет он такие враки,
И такой наплетет рассказ,
Что не раз тот рассказ в бараке
Вы помянете в горький час.
Слезы крови не солонее,
Даровой товар, даровой!
Прет история – Саломея

С Иоанновой головой.
Земля – зола и вода – смола,
И некуда, вроде, податься,
Неисповедимы дороги зла,
Но не надо, люди, бояться!
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Тому, кто пойдет за мной,
Рай на земле – награда».
Потолкавшись в отделе винном,
Подойду к друзьям-алкашам,
При участии половинном
Побеседуем по душам,
Алкаши наблюдают строго,
Чтоб ни капли не пролилось.
«Не встречали – смеются – Бога?»
«Ей же Богу, не привелось».
Пусть пивнуха не лучший случай
Толковать о добре и зле,
Но видали мы этот «лучший»
В белых тапочках, на столе.
Кому «сучок», а кому коньячок,
К начальству – на кой паяться?!
А я все твержу им, ну, как дурачок:
Да не надо, братцы, бояться!
И это бред, что проезда нет,
И нельзя входить без доклада,
А бояться-то надо только того,
Кто скажет: Я знаю, как надо!»
Гоните его! Не верьте ему!
Он врет! Он *незнает* – как надо!

Глава 6: АВЕ МАРИЯ

*Дело явно липовое – все, как на ладони,
Но пятую неделю долбят допрос,
Следователь хмурик с утра на валидоле,
Как пророк, подследственный бородой оброс...*

А Мадонна шла по Иудее
В платице застиранном до сини,
Шла Она с котомкой за плечами,
С каждым шагом делаясь красивой,
С каждым вздохом делаясь печальней,
Шла, платок на голову набросив –
Всех земных страданий средоточье,
И уныло брел за Ней Иосиф,
Убежавший славы Божий отчим...
Аве Мария...
Упекли пророка в республику Коми,
А он и перекинсь башкою в лебеду,
А следователь-хмурик получил в местком
Льготную путевку на месяц в Тиберду...
А Мадонна шла по Иудее,
Оскользаясь на размокшей глине,
Обдирая платье о терновник,
Шла она и думала о Сыне,
И о смертных горестях сыновних.
Ах, как ныли ноги у Мадонны,
Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи,
А вослед Ей ражие долдоны
Отпускали шулки жеребьячьи...
Аве Мария...
Грянули впоследствии всякие хренации,
Следователь-хмурик на пенсии в Москве,
А справочку с печатью о реабилитации
Выслали в Калинин пророковой вдове...
А Мадонна шла по Иудее!
И все легче, тоньше, все худее
С каждым шагом становилось тело...
А вокруг шумела Иудея
И о мертвых помнить не хотела,
Но ложились тени на суглинок,
И таились тени в каждой пяди,
Тени всех бутырок и треблинок,
Всех измен, предательств и распятий...
Аве Мария!..

КАДИШ

Кадиш – это еврейская поминальная молитва: которую произносит сын в память о покойном отце.

Эта поэма посвящена памяти великого польского писателя, врача и педагога Якова Гольдшмидта (Януша Корчака), погибшего вместе со своими воспитанниками из школы-интерната «Дом сирот» в Варшаве в лагере уничтожения Трешлинка.

Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,
Падать и вновь на своя возвращаться круги.
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги...
А по вечерам все так же, как ни в чем не бывало, играет музыка:
Сэн-Луи блюз – ты во мне как боль, как ожог,
Сэн-Луи блюз – захлебывается рожок!
А вы сидите и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
Вы платите, деньги и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
Вы жрете, пьете и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
И поет мой рожок про дерево,
На котором я вздерну вас!
Да-с, да-с...

«Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается».

Януш Корчак. Дневник

Уходят из Варшавы поезда,
И все пустее гетто, все темней,
Глядит в окно чердачная звезда,
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда
И я прощаюсь с памятью своей...
Цыган был вор, цыган был вун,
Но тем милей вдвойне,
Он трогал семь певучих струн
И улыбался мне,
И говорил: «Учи сынок,
Учи цыганский счет –
Семь дней недели создал Бог,
Семь струн гитары – черт,
И он ведется неспроста
Тот хитрый счет, пойми
Ведь даже радуга, и та,

Из тех же из семи Цветов...»
Осенней медью город опален,
А я – хранитель всех его чудес,
Я неразменным одарен рублем,
Мне ровно дважды семь, и я влюблен
Во всех дурнушек и во всех принцесс!
Осени меня своим крылом,
Город детства с тайнами неназванными,
Счастлив я, что и в беде и в праздновании
Был слугой твоим и королем.
Я старался сделать все, что мог,
Не просил судьбу ни разу: высвободи!
И скажу на самой смертной исповеди,
Если есть на свете детский Бог:
Все я, Боже, получил сполна,
Где, в которой расписаться ведомости?
Об одном прошу, спаси от ненависти,
Мне не причитается она.
И вот я врач, и вот военный год,
Мне семью пять, а веку семью два,
В обозе госпитальном кровь и пот,
И кто-то, помню, бредит и поет
Печальные и странные слова:
«Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви, звезда приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет...»
Ах, какая в тот день приключилась беда,
По дороге затопленной, по лесу,
Чтоб проститься со мною, с чужим, навсегда,
Ты прошла пограничную полосу.
И могли ль мы понять в том году роковом,
Что беда эта станет пощадою,
Полинявшее знамя пустым рукавом
Над платформой качалось дощатою.
Наступила внезапно чужая зима,
И чужая, и все-таки близкая,
Шла французская фильма в дрянном «синема»
Барахло торговали австрийское,
Понукали извозчики дохлых коняг,
И в кафе, заколоченном наглухо,

Мы с тобою сидели и пили коньяк,
И жевали засохшее яблоко.
И в молчаньи мы знали про нашу беду,
И надеждой не тешились гиблою,
И в молчаньи мы пили за эту звезду,
Что печально горит над могилою:
«Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда...»
Уходят из Варшавы поезда,
И скоро наш черед, как ни крути,
Ну, что ж, гори, гори, моя звезда,
Моя шестиконечная звезда,
Гори на рукаве и на груди!
Окликнет эхо давним прозвищем,
И ляжет снег покровом пряничным,
Когда я снова стану маленьким,
А мир опять большим и праздничным,
Когда я снова стану облаком,
Когда я снова стану зябликом,
Когда я снова стану маленьким,
И снег опять запахнет яблоком,
Меня снесут с крылечка, сонного,
И я проснусь от скрипа санного,
Когда я снова стану маленьким,
И мир чудес открою заново.
...Звезда в окне и на груди звезда,
И не поймешь, которая ясней,
А я устал, и, верно, неспроста
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
И я прощаюсь с памятью моей...

А еще жила в «Доме сирот» девочка Натя. После тяжелой болезни она не могла ходить, но зато хорошо рисовала и сочиняла песенки – вот одна из них.

ПЕСЕНКА ДЕВОЧКИ НАТИ ПРО КОРАБЛИК

*Я кораблик клеила
Из цветной бумаги,
Из коры и клевера,
С клевером на флаге.
Он зеленый, розовый,
Он в смолистых каплях,
Клеверный, березовый,
Славный мой кораблик, славный мой кораблик.
А когда забулькают ручейки весенние,
Дальнею дорогою, синевой морской,
Поплывет кораблик мой к острову Спасения,
Где ни войн, ни выстрелов, – солнце и покой.
Я кораблик ладила,
Пела, словно зяблик,
Зря я время тратила
Сгинул мой кораблик.
Не в грозном отблеске,
В буре, урагане –
Попросту при обыске
Смяли сапогами...
Смяли сапогами...
Но когда забулькают ручейки весенние,
В облаках приветственно протрубит журавлик,
К солнечному берегу, к острову Спасения
Чей-то обязательно доплывет кораблик!*

Когда-нибудь, когда вы будете вспоминать имена героев, не забудьте, пожалуйста, я очень прошу вас, не забудьте Петра Залевского, бывшего гренадера, инвалида войны, служившего сторожем у нас в «Доме сирот» и убитого польскими полициями во дворе осенью 1942 года.

*Он убирал наш бедный двор,
Когда они пришли,
И странен был их разговор,
Как на краю земли,
Как разговор у той черты,
Где только «нет» и «да» –
Они ему сказали: «Ты, А ну, иди сюда!»
Они спросили: «Ты поляк?»
И он сказал: «Поляк».
Они спросили: «Как же так?»
И он сказал: «Вот так».*

«Но ты ж, культяпый, хочешь жить,
Зачем же, черт возьми,
Ты в гетто нянчишься, как жид,
С жидовскими детьми?!
К чему – сказали – трам-там-там,
К чему такая спесь?!
Пойми – сказали – Польша там!»
А он ответил: «Здесь!
И здесь она и там она,
Она везде одна –
Моя несчастная страна».
Прекрасная страна».
И вновь спросили: «Ты поляк?»
И он сказал: «Поляк».
«Ну, что ж, – сказали. – Значит так?»
И он ответил: «Так».
«Ну, что ж, – сказали. – Кончен бал!»
Скомандовали: «Пли!»
И прежде, чем он сам упал,
Упали костыли,
И прежде, чем пришли покой,
И сон, и тишина.
Он помахать успел рукой
Глядевшим из окна.
...О дай мне Бог конец такой,
Всю боль испив до дна,
В свой смертный миг махнуть рукой
Глядящим из окна!

А потом наступил такой день, когда «Дому сирот», детям и воспитателям приказано было явиться с вещами на Умшлягплац (так называлась при немцах площадь у Гданьского вокзала).

Эшелон уходит ровно в полночь,
Паровоз-балбес пыхтит – Шалом! –
Вдоль перрона строем стала сволочь,
Сволочь провожает эшелон
Эшелон уходит ровно в полночь,
Эшелон уходит прямо в рай,
Как мечтает поскорее сволочь
Донести, что Польша «юдэнфрай».
«Юдэнфрай» Варшава, Познань, Краков,
Весь протекторат из края в край
В черной чертовне паучьих знаков,

Ныне и вовеки – «юдэнфрай»!
А на Умшлягплаце у вокзала
Гетто ждет устало – чей черед,
И гремит последняя осанна
Лаем полиция – «Дом сирот»!
Шевелит губами переводчик,
Глотка пересохла, грудь в тисках,
Но уже поднялся старый Корчак
С девочкою Натей на руках.
Знаменосец, козырек заломом,
Чубчик вьется, словно завитой,
И горит на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой.
Два горниста поднимают трубы,
Знаменосец, выпрямил древко козырек с заломом,
Детские обветренные губы
Запевают гордо и легко:
Наш славный поход начинается просто,
От Старого Мяста до Гданьского моста,
И дальше, и с песней, построясь по росту,
К варшавским предместьям, по Гданьскому мосту!
По Гданьскому мосту!
По улицам Гданьска, по улицам Гданьска
Шагают девчонки, Марыся и Баська,
А маленький Боля, а рыженький Боля
Застыл, потрясенный, у края прибоя, у края прибоя...»
Пахнет морем, теплым и соленым,
Вечным морем и людской тщетой,
И горит на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой!
Мы проходим по трое, рядами,
Сквозь кордон эсэсовских ворон...
Дальше начинается преданье,
Дальше мы выходим на перрон.
И бежит за мною переводчик,
Робко прикасается к плечу, –
«Вам разрешено остаться, Корчак», –
Если верить сказке, я молчу,
К поезду, к чугунному парому,
Я веду детей, как на урок,
Надо вдоль вагонов по перрону,

Вдоль, а мы шагаем поперек.
Рванными ботинками бряцая,
Мы идем не вдоль, а поперек,
И берут, смешавшись полицаи
Кожаной рукой под козырек.
И стихает плач в аду вагонном,
И над всей прощальной маятой –
Пламенем на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой.
Может, в жизни было по другому,
Только эта сказка вам не врет,
К своему последнему вагону,
К своему чистилищу-вагону,
К пахнущему хлоркою вагону
С песнею подходит «Дом сирот»:
«По улицам Лодзи, по улицам Лодзи,
Шагают ужасно почтенные гости,
Шагают мальчишки, шагают девчонки,
И дуют в дуделки, и крутят трещотки...
И крутят трещотки!
Ведут нас дороги, и шляхи, и тракты,
В снега Закопане, где синие Татры,
На белой вершине – зеленое знамя,
И вся наша медная Польша под нами,
Вся Польша...»

И тут кто-то, не выдержав, дал сигнал к отправлению – и эшелон Варшава-Треблинка задолго до назначенного часа, случай совершенно невероятный, тронулся в путь...

Вот и кончена песня.
Вот и смолкли трещотки,
Вот и скорчено небо
В переплете решетки.
И державе своей
Под вагонную тряску
Сочиняет король
Угломонную сказку...
Итак, начнем, благословясь...
Лет сто тому назад
В своем дворце неряха-князь
Развел везде такую грязь,
Что был и сам не рад.
И, как-то, очень рассердясь,

Призвал он маляра.
«А не пора ли, – молвил князь, –
Закрасить краской эту грязь?»
Маляр сказал: «Пора,
Давно пора, вельможный князь,
Давным давно пора».
И стала грязно-белой грязь,
И стала грязно-синей грязь,
И стала грязно-желтой грязь
Под кистью маляра.
А потому что грязь есть грязь,
В какой ты цвет ее не крась.
Нет, некстати была эта сказка, некстати,
И молчит моя милая чудо-держава,
А потом неожиданно голосом
Нати Невпопад говорит: «До свиданья, Варшава!»
И тогда, как стучат колотушкой о шпалу,
Застучали сердца колотушкой о шпалу,
Загудели сердца: « Ма вернемся в Варшаву!
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!»
По вагонам, подобно лесному пожару,
Из вагона в вагон, от состава к составу,
Как присяга гремит: «Мы вернемся в Варшаву!
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!
Пусть мы дымом растаем над адовым пеклом,
Пусть тела превратятся в горючую лаву,
Но водой, но травой, но ветром, но пеплом,
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!»
А мне-то, а мне что делать?
И так мое сердце – в ключьях!
Я в том же трясусь вагоне,
И в том же горю пожаре,
Но из года семидесятого
Я вам кричу: «Пан Корчак!
Не возвращайтесь!
Вам будет стыдно в *этой* Варшаве!
Землю отмыли добела,
Нету ни рвов, ни кочек,
Гранитные обелиски
Твердят о бессмертной славе,
Но слезы и кровь забыты,

Поймите это, пан Корчак,
И не возвращайтесь,
Вам страшно будет в *этой* Варшаве!
Дали зрелищ и хлеба,
Взяли Вислу и Татры,
Землю, море и небо,
Все, мол, наше, а так ли?!
Дня осеннего пряжа
С вещим зовом кукушки Ваша?
Врете, не ваша!
Это осень Костюшки!
Небо в пепле и саже
От фабричного дыма Ваше?
Врете, не ваше!
Это небо Тувима!
Сосны – гордые стражи
Там, над Балтикой пенной, Ваши?
Врете, не ваши!
Это сосны Шопена!
Беды плодятся весело,
Радость в слезах и корчах,
И много ль мы видели радости
На маленьком нашем шаре?!
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу Вас, пан Корчак,
Не возвращайтесь,
Вам нечего делать в *этой* Варшаве!
Паясничают гомулкулусы,
Геройские рожи корчат,
Рвется к нечистой власти
Орава речистой швали...
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу Вас, пан Корчак!
Вы будете чужеземцем
В Вашей родной Варшаве!

А по вечерам все так же играет музыка. Музыка, музыка, как ни в чем не бывало:

Сэн-Луи блюз – ты во мне как боль, как ожог,
Сэн-Луи блюз – захлебывающийся рожок!
На пластинках моно и стерео,
Горячей признанья в любви,
Поет мой рожок про дерево

Там, на родине, в Сэн-Луи.
Над землей моей отчей выстрелы
Пыльной ночью, все бах да бах!
Но гоните монету, мистеры,
И за выпивку, и за баб!
А еще, ну прямо комедия,
А еще за вами должок –
Выкладывайте последнее
За то, что поет рожок!*

А вы сидите и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
Вы платите деньги и слушаете
И с меня не сводите глаз.
Вы жрете, пьете и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
И поет мой рожок про дерево,
На котором я вздерну вас! Да-с! Да-с! Да-с!

«Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается».
Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,
Падать, и вновь на своя возвращаться круги.
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги!...

*// * Вариант:*
О земле моих дедов и прадедов
Подпевай моему рожку
И плевать мне на сумму катетов,
Что вбивается нам в башку,
Плевать мне на белое знамя,
На проклятый ваш белый свет
И на ваши белые здания,
Коли черного выхода нет.

СВЯЩЕННАЯ ВЕСНА

Собирались вечерами зимними,
Говорили то же, что вчера...
И порой почти невыносимыми
Мне казались эти вечера.
Обсуждали все приметы искуса,
Превращали – в сложность – простоту,
И моя Беда смотрела искоса

На меня – и мимо, в пустоту.
Этим странным взглядом озадаченный,
Темным взглядом, как хмельной водой,
Столько раз обманутый удачами,
Обручился я с моей Бедой!
А зима все длилась, все не таяла,
И пытаюсь одолеть тоску –
Я домой, в Москву, спешил из Таллина,
Из Москвы – куда-то под Москву.
Было небо вымазано суриком,
Белую поземку гнал апрель...
Только вдруг, – прислушиваясь к сумеркам,
Услыхал я первую капель.
И весна, священного священнее,
Вырвалась внезапно из оков!
И простую тайну причащения
Угадал я в таянии снегов.
А когда в тумане, будто в мантии,
Поднялась над берегом вода, –
Образок Казанской Божьей Матери
Подарила мне моя Беда!
...Было тихо в доме.
Пахло солодом.
Чуть скрипела за окном сосна.
И почти осенним звонким золотом
Та была пронизана весна!
Та весна – Прощенья и Прощания,
Та, моя осенняя весна,
Что дразнила мукой обещания
И томила. И лишила сна.
Словно перед дальнею дорогою,
Словно – в темень – угадав зарю,
Дар священный твой ладонью трогаю
И почти неслышно говорю:
– В лихолетье нового рассеянья,
Ныне и вовеки, навсегда,
Принимаю с гордостью
Спасение Я – из рук Твоих – моя Беда!

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

«Люди, я любил вас – будьте бдительны!»
Я люблю вас – глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали, до времени, старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Что ни день – то бесстыдными славят фанфарами!
Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали,
Сколько раз соблазняли соблазнами тщетными...
И как черти вы злы, и как ветер отходчивы,
И – скупцы! – до чего ж вы бываете щедрыми!
Она стоит – печальница
Всех сущих на земле,
Стоит, висит, качается
В автобусной петле.
А может, это поручни...
Да, впрочем, все равно!
И спать ложилась к полночи,
И поднялась – темно.
Всю жизнь жила – не охала,
Не крыла белый свет.
Два сына было – сокола,
Обоих, нет, как нет!
Один убит под Вислою,
Другого хворь взяла!
Она лишь зубы стиснула –
И снова за дела.
А мужа в Потьме льдиною
Распутица смела.
Она лишь брови сдвинула –
И снова за дела.
А дочь в больнице с язвою,
А сдуру запил зять...
И, думая про разное, –
Билет забыла взять.
И тут один с авоською
И в шляпе, паразит! –
С ухмылкой со свойскою
Геройски ей грозит!
Он палец указательный
Ей чуть не в нос сует:
– Какой, мол, несознательный,

Еще, мол, есть народ!
Она хотела высказать:
– Задумалась, прости!
А он, как глянул искоса,
Как сумку сжал в горсти
И – на одном дыхании
Сто тысяч слов подряд!
(«Чем в шляпе – тем нахальнее!»
Недаром говорят!)
Он с рожею канальскою
Гремит на весь вагон:
– Что с кликой, мол, китайскою
Стакнулся Пентагон!
Мы во главе истории,
Нам лупят в лоб шторма,
А есть еще, которые
Все хотят задарма!
Без нас – конец истории,
Без нас бы мир ослаб!
А есть еще, которые
Все хотят цап-царап!
Ты, мать, пойми: неважно нам,
Что дурость – твой обман.
Но – фигурально – каждому
Залезла ты в карман!
Пятак – монетка малая,
Ей вся цена – пятак.
Но с неба каша манная
Не падает за так!
Она любому лакома,
На кашу каждый лих!..
И тут она заплакала
И весь вагон затих.
Стоит она – печальница
Всех сущих на земле,
Стоит, висит, качается
В автобусной петле.
Бегут слезинки скорые,
Стирает их кулак..
И вот вам – вся история,
И ей цена – пятак!

Я люблю вас – глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали, до времени, старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Что ни день – то бесстыдными славят фанфарами!
И пускай это время в нас ввинчено штопором,
Пусть мы сами почти до предела заверчены,
Но оставьте, пожалуйста, бдительность «операм»!
Я люблю вас, люди!
Будьте доверчивы!

В Серебряном боре, у въезда в Дом отдыха артистов Большого театра, стоит, врытый в землю, неуклюже-отесанный, деревянный столб. Малярной кистью, небрежно и грубо, на столбе нанесены деления с цифрами – от единицы до семерки. К верху столба, прилажено колесико, через которое пропущена довольно толстая проволока. С одной стороны столба проволока уходит в землю, а с другой – к ней подвешена тяжелая гиря. Сторож дома отдыха объяснил мне:

– А это, Александр Аркадьевич, говномер... Проволока, она, стало быть, подведена к яме ассенизационной! Уровень, значит, повышается – гиря понижается... Пока она на двойке-тройке качается – ничего... А как до пятерки-шестерки дойдет – тогда беда, тогда, значит, надо из города золотариков вызывать... Мне показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным. И я посвятил ему философский этюд, который назвал эпически скромно:

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ

1. ДЛЯ ПРАВОЙ РУКИ

Allegro moderato

Весь год – ни валко и не шатко,
И все, как прежде, в январе.
Но каждый день горела шапка,
Горела шапка на воре.
А вор белье тащил с забора,
Снимал с прохожего пальто,
И так вопил: – Держите вора!
Что даже верил кое-кто!

2. ДЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ

Maastozo

Ты прокашляйся, февраль, прометелься,
Грянь морозом на ходу, с поворотца!

Промотали мы свое прометейство,
Проворонили свое первородство!
Что ж, утешимся больничной палатой,
Тем, что можно ни на что не решаться...
Как объелись чечевичной баландой –
Так не в силах до сих пор отдышаться!

3. ДЛЯ ОБЕИХ РУК

Vivache

Кто безгласных разводит рыбок,
Кто – скупец – бережет копейку,
А я поеду на птичий рынок
И куплю себе канарейку.
Все полста отвалю, не гривну,
Привезу ее, кроху, на дом,
Обучу канарейку гимну,
Благо слов ей учить не надо!
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно свистит:
– Союз нерушимый республик свободных...

ПЕСНЯ ОБ ОТЧЕМ ДОМЕ

Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,
Золотой мой, недолгий век.
Но все то, что случится со мной потом, –
Все отсюда берет разбег!
Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник.
Здесь мой первый гром говорил со мной
И я понял его язык.
Как же страшно мне было, мой Отчий Дом,
Когда Некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.
Угловым жильцом, что копит деньги –
Расплатиться за хлеб и кров.
Он копит деньги, и всегда в долгу,
И не вырвется из долгов!
– А в сыновней верности в мире сем
Клялись многие – и не раз! –
Так сказал мне Некто с пустым лицом

И прищурил свинцовый глаз.
И добавил: – А впрочем, sluкaвь, солги –
Может, вымолишь тишь да гладь!..
Но уж если я должен платить долги,
То зачем же при этом лгать?!
И пускай я гроши наскребу с трудом,
И пускай велика цена –
Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом,
Я с тобой расплачусь сполна!
Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари –
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.
Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня!
Не зови меня...
Не зови – Я и так приду!

ЗАНЯЛИСЬ ПОЖАРЫ

...Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели
И осина уже не дрожит.
Отравленный ветер гудит и дурит,
Которые сутки подряд.
А мы утешаем своих Маргарит,
Что рукописи не горят!
А мы утешаем своих Маргарит,
Что – просто – земля под ногами горит,
Горят и дымятся болота –
И это не наша забота!
Такое уж время – весна не красна,
И право же просто смешно,
Как «опер» в саду забивает «козла»,
И смотрит на наше окно,
Где даже и утром темно.
А «опер» усердно играет в «козла»,
Он вовсе не держит за пазухой зла,

Ему нам вредить неохота,
А просто – такая работа.
А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на виду...
И все это было когда-то уже,
В таком же крошечном году!
Вот так же, за чаем, сидела семья,
Вот так же дымилась и тлела земля,
И гость, опьяненный пожаром,
Пророчил, что это недаром!
Пророчу и я, что земля неспроста
Кряхтит, словно взорванный лед,
И в небе серебряной тенью креста
Недвижно висит самолет.
А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на крутом рубеже,
И даже для этой эпохи –
Дела наши здорово плохи!
А что до пожаров – гаси не гаси,
Кляни окаянное лето –
Уж если пошло полыхать на Руси,
То даром не кончится это!
Усни, Маргарита, за прялкой своей,
А я – отдохнуть бы и рад,
Но стелется дым, и дурит суховей,
И рукописи горят.
И опер, смешав на столе домино,
Глядит на часы и на наше окно.
Он, брови нахмутив густые,
Партнеров зовет в понятые.
И черные кости лежат на столе,
И кошка крадется по черной земле
На вежливых сумрачных лапах.
И мне уже дверь не успеть запереть,
Чтоб книги попрятать и воду согреть,
И смыть керосиновый запах!

ЗАКЛИНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА

Здесь в окне, по утрам, просыпается свет,
Здесь мне, все, как слепому, на ощупь знакомо...
Уезжаю из дома! Уезжаю из дома!
Уезжаю из дома, которого нет.
Это дом и не дом.
Это дым без огня.
Это пыльный мираж или Фата-Моргана.
Здесь Добро в сапогах, рукояткой нагана
В дверь стучало мою, надзирая меня.
А со мной кочевало беспечное Зло.
Отражало вторженья любые попытки,
И кофейник с кастрюлькой на газовой плитке
Не дурили и знали свое ремесло..
Все смешалось – Добро, Равнодушие, Зло.
Пел сверчок деревенский в московской квартире.
Целый год благодати в безрадостном мире –
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!
И пою, что хочу, и кричу, что хочу,
И хожу в благодати, как нищий в обновке.
Пусть движенья мои в этом платье неловки –
Я себе его сам выбирал по плечу!
Но Добро, как известно, на то и Добро,
Чтоб уметь притвориться – и добрым, и смелым,
И назначить, при случае, – черное – белым,
И веселую ртуть превращать в серебро.
Все причастно Добру.
Все подвластно Добру.
Только с этим Добрынею взятки не гладки.
И готов я бежать от него без оглядки
И забиться, зарыться в любую нору!..
Первым сдался кофейник: Его разнесло,
Заливая конфорки и воздух поганя...
И Добро прокричало, гремя сапогами,
Что во всем виновато беспечное Зло!
Представитель Добра к нам пришел поутру,
В милицейской (почудилось мне!) плащ-палатке...
От такого, попробуй – сбеги без оглядки,
От такого, поди-ка, заройся в нору!
И сказал Представитель, почтительно-строг,
Что дела выездные решают в ОВИРе,

Но что Зло не прописано в нашей квартире,
И что сутки на сборы – достаточный срок!
Что ж, прощай, мое Зло! Мое доброе Зло!
Ярым воском закапаны строчки в псалтыри.
Целый год благодати в безрадостном мире –
Кто из смертных не скажет, что мне повезло!
Что ж, прощай и – прости!
Набухает зерно.
Корабельщики ладят смоленые доски.
И страницы псалтыри – в слезах, а не в воске,
И прощальное в кружках гуляет вино!
Я растил эту ниву две тысячи лет –
Не пора ль поспешить к своему урожаю?!
Не прости! Я всего лишь навек уезжаю От

СЛУШАЯ БАХА

М. Растроповичу
На стене прозвенела гитара,
Зацвели на обоях цветы.
Одиночество Божьего дара –
Как прекрасно
И горестно ты!
Есть ли в мире волшебней
Чем это (Всей доуке земной вопреки) –
Одиночество звука и цвета,
И паденья последней строки?
Отправляется небыль в дорогу
И становится былью потом.
Кто же смеет указывать Богу
И заведовать Божьим путем?!
Но к словам, ограненным строкою,
Но к холсту, превращенному в дым, –
Так легко прикоснуться рукою,
И соблазн этот так нестерпим!
И не знают вельможные каты,
Что не всякая близость близка,
И что в храм ре-минорной токкаты
Недействительны их пропуска!

ОПЫТ ОТЧАЯНИЯ

Мы ждем и ждем гостей неожиданных,
И в ожидании Ни гу-гу!
И все сидим на чемоданах,
Как на последнем берегу.
И что нам малые утраты
На этом горьком рубеже,
Когда обрублены канаты
И сходни убраны уже?
И где-то бродит в дальних странах
Чужою ставшая строка.
А мы сидим на чемоданах
И ждем проклятого звонка.
И нас чужие дни рожденья
Кропят соленою росой,
У этой Зоны отчужденье,
Над этой Взлетной полосой!
Прими нас, Господи, незванных,
И силой духа укрепи!
Но мы сидим на чемоданах,
Как пес дворовый на цепи!
Как раб, откупленный на волю
Уже не может без оков,
И все сидим и внемлем вволю,
Не слышим тихих Божьих слов.
Ну, что же нам теперь осталось?
Строка газетного листа?
О, время осени, о, старость,
Как ты тщеславна и пуста.
И нет ни мрака, ни прозренья,
И ты не жив и не убит.
И только рад, что есть – прозренье,
Надежный лекарь всех обид.

ВЕЧНЫЙ ТРАНЗИТ

Посошок напоследок,
Все равно, что вода.

То ли – так, То ли – этак,
Мы уйдем в никуда.
Закружим суховеем
На распутице шпал.
Оглянуться не смеем,
Оглянулся – пропал!
И все мы себя подгоняем – скорее!
Все путаем Ветхий и Новый Завет.
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!
Мы теперь иностранцы.
Нас бессмертьем казнит
Пересадочных станций
Бесконечный транзит.
И как воинский рапорт –
Предотъездный свисток...
Кое-кто – на Восток,
Остальные – на Запад!
Под небом Австралий, Италий, Германий,
Одно не забудь (И сегодня, и впредь!),
Что тысячу тысяч пустых оправданий –
Бумаге – и той – надоело терпеть!
Паровозные встречи –
Наша боль про запас.
Те, кто стали далече, –
Вспоминают ли нас?
Ты взгляни – как тоскует
Колесо на весу...
А кукушка кукует
В подмосковном лесу!
Ну, что ж, волоки чемодан, не вздыхая,
И плакать не смей, как солдат на посту.
И всласть обнимай своего вертухая
Под вопли сирен на Бруклинском мосту.
Вот и канули в Лету Оскорбленья и вой.
Мы гуляем по свету,
Словно нам не впервой!
Друг на друга похожи,
Мимо нас – города...
Но Венеция дождей –
Это все-таки да!

В каналах вода зелена нестерпимо,
И ветер с лагуны пронзительно сер.
– Вы, братец, из Рима?
– Из Рима, вестимо!
– А я из-под Орши! – сказал гондольер.
О, душевные травмы,
Горечь горьких минут!
Мы-то думали: Там вы.
Оказались – и тут.
И живем мы не смея
Оценить благодать:
До холмов Иудеи,
Как рукою подать!
А может, и врянь мы, как те лицедеи,
Что с ролью своей навсегда не в ладах?!
И были нам ближе холмы Иудеи –
На Старом Арбате, на Чистых прудах!
Мы, как мудрые совы,
Зорко смотрим во тьму.
Даже сдать-ся готовы –
Да не знаем кому!
С горя, вывесим за борт
Перемирья платок,
Скажем: Запад есть Запад,
А Восток есть Восток!
И все мы себя подгоняем:
– Скорее! Все ищем такой очевидный ответ.
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет!

Перелому в творчестве весьма благополучного советского литератора способствовала и история с несостоявшейся премьерой пьесы Галича «Матросская Тишина», написанной для создававшегося театра «Современник». Уже отрепетированную пьесу запретили показывать, заявив автору, что он искажённо представляет роль евреев в Великой отечественной войне. Этот эпизод Галич потом описал в повести «Генеральная репетиция».

В 1971 г. Галич был исключён из Союза писателей СССР, членом которого он был с 1955 г. (этому посвящена песня «От беды моей пустяковой»), а в 1972 г. — из Союза кинематографистов, в котором состоял с 1958 г. Фактически после этого он был доведён до состояния нищенства (он — привыкший к достатку и комфорту). Его не принимали на высокооплачиваемую работу, и он был лишён возможности заработать себе на хлеб. Первое время Галич продавал редкие книги из своей библиотеки, потом стал подрабатывать «литературным негром» - подправлять чужие сценарии. Но денег всё равно не хватало, тем более, что кормить приходилось не только себя и жену, но и матерей обоих, и семью своего внебрачного сына Гриши, рождённого в 1967-м году. В 1972-м году, после третьего инфаркта, Галич получает вторую группу инвалидности и пенсию в 54 рубля в месяц.

Галич был вынужден эмигрировать; 22 октября 1974 года постановлением Главлита по согласованию с ЦК КПСС все его ранее изданные произведения были запрещены в СССР. Первым его пристанищем за рубежом стала Норвегия, затем он переехал в Мюнхен, где некоторое время работал на американской радиостанции

«Свобода». Потом Галич поселился в Париже, где погиб 15 декабря 1977 г. от удара электрическим током от радиоаппаратуры. Существует также версия, что это было убийство, причём версии о том, кто именно убил Галича, разнятся до противоположности: согласно одним, Галича убили агенты КГБ, мстившие ему за антисоветскую деятельность; согласно другим — Галича убили агенты ЦРУ, которые боялись, что Галич, которого мучала ностальгия, решит вернуться в Советский Союз и этим существенно подорвёт имидж диссидентского движения. Между тем, парижские знакомые Галича (Владимир Максимов, Василий Бетаки) заявляли, что причиной его смерти стал именно несчастный случай:

